МЭГИ ТЕНАЧЕ



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Подарок цыганки

КНИГА 2. ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ СУДЬБЫ

18+

Мэги Теначе

Вторая жизнь. Подарок цыганки. Книга 2. По другую сторону судьбы

«Автор»
2026

Теначе М.

Вторая жизнь. Подарок цыганки. Книга 2. По другую сторону судьбы / М. Теначе — «Автор», 2026 — (Вторая жизнь. Подарок цыганки)

Одна девушка, один город, две жизни. В одной её дорога — обман, в другой она учится жить честно.Чикаго, 1885 год. Восемнадцатилетняя Ронни приходит по объявлению к Сайласу Крейну и становится его стенографисткой, а потом ученицей. Он учит её видеть чужие слабости и обращать их в прибыль.Во второй жизни Вероника приезжает в Чикаго с живыми родителями. Теперь она работает в конторе отца и знает, кого разорят, кто поверит мошеннику и кому помощь понадобится слишком поздно. Но сможет ли она спасти всех, кого когда-то погубила? Спасаешь одного — Крейн находит другую жертву. А место рядом с ним занимает новая ученица.Через шесть лет обе истории приведут её на бал к Палмерам, к банкиру Натаниэлю Эшфорду. В одной жизни ей поручено его обольстить. В другой она надеется, что он её полюбит.

© Теначе М., 2026
© Автор, 2026

Мэги Теначе
Вторая жизнь. Подарок цыганки. Книга 2. По другую сторону судьбы

Глава 1

На второе утро впереди наконец показался Чикаго. Пути по обе стороны поезда ветвились и множились, телеграфные столбы обрастали густой паутиной проводов, и на запасных путях стояли тысячи товарных вагонов со всех концов страны: красные, жёлтые, голубые, зелёные. Ронни сидела у окна, прижав к себе саквояж, и смотрела во все глаза. Потом показалась река, узкая и маслянистая, с пыхтящими буксирами, высокими башнями элеваторов и чёрными угольными складами, и поезд долго стоял перед разводным мостом, пропуская баржи с зерном. Мелкий холодный дождь сыпал с низкого неба, и вода под мостом была рябая и серая.

Поезд подошёл к грязным дощатым платформам у Канал-стрит в половине одиннадцатого. Это было двадцать девятого сентября. Ронни сошла одной из первых. Повсюду стучали молотки на лесах строящихся зданий: где строят, там и нанимают, и Ронни отметила это про себя прежде всего прочего.

Такого она не ожидала. На площади перед вокзалом всё толпилось, толкалось, кричало: фермеры в овчинных куртках, мальчишки-газетчики, коммивояжёры с образцами в клеёнчатых чемоданах, и никто ни перед кем не извинялся. Ломовые лошади, забрызганные грязью по самое брюхо, тянули к мосту гружёные подводы, звенели колокольчики конки, бранились извозчики, а под ногами чавкала чёрная грязь пополам с навозом и соломой, и подол её юбки скоро стал тяжёлым и тёмным. Ронни остановилась, не зная, куда идти, но сзади её толкнули, и толпа понесла её к мосту.

Она перешла мост и пошла на восток, туда, где над крышами гуще всего стоял дым. На фонарях у перекрёстков она читала названия улиц: Франклин, Уэллс, Ла-Саль. Длинные улицы тянулись двумя рядами контор и оптовых складов, и за огромными зеркальными стёклами, какие в Коламбусе ставили разве что в аптеке, громоздилось такое, чего она и вообразить не могла: штуки сукна и ситца до самого потолка, бочки с гвоздями, ящики с мылом, чаем и кофе, плуги и сеялки, выкрашенные ярко-красной краской. За стёклами виднелись перегородки из полированного дерева и матового стекла и множество служащих, склонённых над конторками: каждый из них получал здесь жалованье. Начищенные медные дощечки у подъездов возвещали название фирмы и род её занятий, и скоро Ронни заметила, что чуть ли не половина из них занята одним и тем же: в этом доме зерно, и напротив зерно, и через два подъезда опять зерно, точно весь город только тем и жил, что перепродавал друг другу одну и ту же пшеницу. Кому нужно столько сукна и столько гвоздей, и откуда у этих людей берутся деньги, чтобы всё это купить? Спросить было некого, и ей было и страшно, и жадно любопытно.

Найти контору оказалось совсем не так просто, как ей думалось. Адрес с газетной вырезки, сложенной вчетверо в кармане жакета, она помнила наизусть, но улицы здесь были похожи одна на другую, номера на домах то пропадали, то начинались заново за углом, и дважды она выходила к реке, хотя шла, как ей казалось, от неё. Она спрашивала дорогу у полисмена, у приказчика, вышедшего на порог покурить, и каждый махал рукой в свою сторону. Тем временем стало смеркаться, в окнах контор зажёгся газ, и толпа, которая утром несла её к мосту, теперь так же торопливо текла обратно, к конкам и вокзалам. Ноги у Ронни гудели, подол отяжелел от грязи, и она уже думала, что придётся искать ночлег, когда на углу увидела старуху в мужском картузе, которая продавала с лотка печёные яблоки, накрытые мешковиной. Ронни спросила её без всякой надежды, в двадцатый раз за этот день. Старуха выслушала, пожевала губами и показала через плечо.

— Да вон же он, Крейн-то. Второй подъезд, где чёрная табличка. Ходят тут к нему всякие.

Контора Сайласа Крейна помещалась во втором этаже узкого пятиэтажного дома из бурого песчаника, в двух кварталах от новой Торговой палаты, и о ней сообщала только небольшая чёрная табличка у подъезда с золотыми буквами: «С. Крейн, зерно и провизия, комис-

сионные операции». Ронни поднялась по лестнице, которая пахла мокрыми калошами и табаком, и остановилась у двери с матовым стеклом. Тут на неё напало сомнение. А что, если этот Крейн только посмотрит на её серое платье и соломенную шляпку и велит проводить её до лестницы? Что, если всё, что она так смело придумала ночью в поезде, окажется детской глупостью? Медная ручка была холодная, и Ронни никак не решалась за неё взяться. Потом она себя одёрнула. На улице, с Томом, в первый раз тоже было страшно, и во второй тоже, а потом страх прошёл, потому что толку от него не было никакого. «Возьмут, — сказала она себе. — Иначе и быть не может». И толкнула дверь.

За дверью был длинный зал, перегороженный медным барьером. По ту сторону барьера, за высокими конторками, стояли трое конторщиков в нарукавниках, а в углу, под газовым рожком, сидел старик-бухгалтер с зелёным козырьком над глазами и вписывал что-то в толстую книгу в мраморном переплёте. Пахло чернилами, угольным дымом и мокрым сукном пальто, развешанных у печки. В глубине, за второй стеклянной дверью, был кабинет. Рассыльный, мальчик лет пятнадцати в куртке с медными пуговицами, оглядел её с головы до ног и спросил, кого ей угодно.

— Я по объявлению, — сказала Ронни. — Стенографистка.

— Ещё одна, — сказал мальчик и кивнул на скамью у стены.

На скамье, под вешалкой, сидела девушка. Ронни хватило одного беглого взгляда, чтобы заметить всё. Девушка была высокая и тонкая, лет двадцати, с длинным узким лицом и высокими скулами. Волосы у неё были тёмно-медные, почти рыжие под газовым рожком, и уложены высоким тяжёлым узлом. Так укладывала волосы и сама Ронни, когда хотела казаться старше. Глаза светло-карие, спокойные. Синее платье с бархатной отделкой было сшито, видимо, дома, по картинке из модного журнала, и сидело почти в обтяжку; белые нитяные перчатки были заштопаны на одном пальце, на шляпке сидели две искусственные розы, и от неё пахло дешёвыми фиалковыми духами. На коленях у неё лежали новая тетрадь в клеёнчатом переплёте и два очиненных карандаша. Она окинула Ронни взглядом сверху вниз, от шляпки до ботинок, и улыбнулась аккуратной сдержанной улыбкой.

— Аврора Сент-Клэр, — сказала она, хотя никто её не спрашивал. — Тоже по объявлению?

— Тоже, — сказала Ронни и села на другой конец скамьи. Имя было слишком красивое для заштопанных перчаток, и Ронни подумала, что оно, верно, такое же настоящее, как и её собственное, придуманное ночью в поезде.

Ждать пришлось с четверть часа. Аврора подозвала рассыльного, спросила, как его зовут, и похвалила его медные пуговицы. Не прошло и двух минут, как мальчик, который был груб с Ронни на входе, уже стоял у скамьи, облокотившись на барьер, улыбался во все зубы её сопернице и рассказывал ей вполголоса всё, что знал. Мистер Крейн любит, когда пишут чисто и не переспрашивают; прежняя стенографистка жила под самой крышей и ушла в сентябре, а до них сегодня приходили ещё три. Ронни сидела на своём конце скамьи и смотрела, как он краснеет от удовольствия. «Этого я не умею», — подумала она.

Мистер Крейн вышел к ним сам. Это был худой, чуть сутулый человек лет пятидесяти, с высоким лысеющим лбом и редкими седеющими волосами, зачёсанными назад, в длинном чёрном сюртуке и в чёрном шейном платке. Лицо у него было бледное, гладко выбритое, с мягким, почти ласковым выражением, и очень бледные светло-голубые глаза. Он посмотрел сначала на одну девушку, потом на другую и открыл для них дверцу в барьере.

— Прошу вас, — сказал он. — Обе. Так будет скорее.

В кабинете у него было тепло. Топился камин, на письменном столе красного дерева лежала стопка телеграмм под бронзовым пресс-папье в виде быка, а к столу была прислонена чёрная трость с серебряным набалдашником. Мистер Крейн усадил девушек на два стула у камина, сам сел за стол и, не спросив ни у одной из них, кто она и откуда, взял телеграмму и стал

диктовать ответ. Диктовал он негромко, не останавливаясь, о вагонах овса в Пеории, о марже и о цене на май. Ронни писала на колене, в своей тетради, крючками Питмана. Аврора писала быстро, низко наклонив голову, и раза два Ронни услышала, как её карандаш остановился и пошёл снова.

— Прочтите, — сказал мистер Крейн и посмотрел на Аврору.

Та встала и прочла звучным, приятным голосом, с выражением. Овёс у неё был в Пеории и маржа внесена, но цену на май она назвала неверно, а вагонов у неё вышло куда меньше, чем он диктовал. Дочитав, она улыбнулась мистеру Крейну.

— Благодарю вас, — сказал он. — Теперь вы.

Ронни прочла сидя, ровно, слово в слово. Мистер Крейн слушал, глядя на свою телеграмму, и, когда она закончила, долго молчал.

— Как вас зовут, дитя моё?

Об этом она думала всю ночь, в поезде, под стук колёс. В Цинциннати она была миссис Грант, вдова; вдова в стенографистки не годилась.

— Ронни Грант, сэр. Мисс Грант.

— Где вы учились, мисс Грант?

— В приюте, сэр. В Огайо.

— В приюте, — повторил мистер Крейн, и по лицу его нельзя было понять, хорошо это или дурно. — И давно вы в Чикаго?

— С утра, сэр.

Мистер Крейн повернулся к Авроре.

— Вы читаете гораздо лучше её, мисс Сент-Клэр, — сказал он мягко. — Только читать мне вслух не нужно. Мне нужно, чтобы за мной записывали слово в слово, а у вас в тетради и половины нет.

Аврора поднялась. Улыбка у неё не дрогнула, только на скулах выступили два красных пятна. Она взяла свою тетрадь, поклонилась мистеру Крейну низко, с приседанием, и вышла, не взглянув на Ронни. Стеклянная дверь закрылась за ней, потом хлопнула наружная, и по лестнице простучали её каблуки. Ронни смотрела на дверь. Синее платье, тетрадь в клеёнке, два очиненных карандаша — всё это было куплено на последние деньги, и куплено ради этого дня.

Мистер Крейн сказал, что место за ней, что платить он будет восемь долларов в неделю и что приходить нужно к восьми, за полтора часа до открытия Палаты. Ронни слушала и не сразу взяла в толк, что это говорится ей. Потом взяла. У неё задрожали колени, и она порадовалась, что сидит. Её взяли. Её, а не ту, в синем. И тут же ей стало стыдно: Аврора Сент-Клэр выходила сейчас на улицу, где уже зажгли фонари, и не знала, куда ей теперь идти. «Бедняжка, — подумала Ронни. — Ну и пусть. По тёмной лестнице сегодня спускаюсь не я».

Мистер Крейн вынул из бумажника две бумажки и положил их на край стола, ближе к ней.

— За неделю вперёд, — сказал он. — И ещё два доллара. Соломенные шляпки в Чикаго носят до первого сентября, дитя моё. В моей конторе за модой следят.

Потом он сказал, что жить она будет здесь же, в этом доме. Сам он, как оказалось, жил тут же, во втором этаже, за кабинетом, куда вела обитая сукном дверь; в третьем этаже жили его конторщики, а над ними, под самой крышей, была каморка, в которой жила прежняя стенографистка. Столоваться она будет внизу, на кухне, вместе с конторщиками, три раза в день. Ронни слушала и не совсем верила. Ещё час назад она думала, где ей искать ночлег в чужом городе, а теперь у неё были и место, и крыша над головой, и горячий ужин, и всё это в одном доме с человеком, который сидел напротив. Она свернула бумажки, спрятала их в носовой платок и завязала платок двойным узлом.

Каморка оказалась тесная, в ней помещались только железная кровать, умывальник и один стул. На белой штукатурке над кроватью темнели длинные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и по жести над головой мелко стучал дождь. Старик-бухгалтер поставил на умывальник свечу, пожелал ей доброй ночи и ушёл, шаркая, вниз. Ронни села на кровать, не снимая жакета, и долго смотрела на тёмные полосы на стене.

«Добрый, — подумала она. — С чего бы это?»

Ответа она не знала. Она знала только, что за доброту в этом городе где-нибудь да платят, и решила платить работой.

Работы было много. Ронни сидела за маленьким столом у окна, по эту сторону барьера, между стариком-бухгалтером и дверью в кабинет, и через её руки проходило всё. Она записывала за мистером Крейном письма клиентам и телеграммы маклерам, переписывала их набело и вкладывала копии в копировальную книгу, где тонкие листы пахли клеем и анилином. Она разбирала почту и вела книгу маржевых требований. Клиенты у мистера Крейна были самые разные, от хозяев элеваторов из Айовы до вдов и отставных капитанов с пароходов. Был даже священник из Огайо, который покупал пшеницу на май, потому что так ему посоветовал мистер Крейн, и писал ему письма, полные благодарности. Через две недели Ронни знала про каждого из них, сколько он может потерять и когда.

Знала она и другое. В нижнем ящике стола мистера Крейна, под замком, лежала вторая книга, в простом коричневом переплёте, и Ронни переписывала в неё по субботам то, что он ей диктовал из своей записной книжки. На Кларк-стрит была маленькая контора, где за стеклом висела доска с котировками и где с утра до вечера ставили на цену пшеницы приказчики и кучера, не покупая ни одного бушеля; по второй книге выходило, что эта контора каждую неделю платила мистеру Крейну. Выходило по ней и то, что маржу священника из Огайо и двух вдов мистер Крейн закрывал всегда в тот самый день, когда цена стояла ниже всего. В первой книге, у старика, эти же продажи стояли по той цене, по какой были в полдень. Разница уходила во вторую книгу.

«Вот где он их держит», — подумала Ронни и аккуратно промокнула страницу.

Так прошёл месяц. В последнюю субботу октября мистер Крейн вызвал её в кабинет после закрытия, чтобы продиктовать письма клиентам, и, когда она дописала последнее письмо и встала, она не ушла.

— Что ещё, дитя моё? — спросил он, не поднимая глаз от телеграммы.

— Я хотела обратить ваше внимание на состояние некоторых счетов, сэр, — сказала Ронни. — Мистер Беккер из Дубьюка не отвечает на письма о марже с первого числа, а пшеницы на май у него в открытых контрактах на двадцать тысяч бушелей. Если май пойдёт вверх, он не заплатит, и его контракты останутся у вас на руках.

Мистер Крейн отложил телеграмму.

— Это всё?

— Нет, сэр. Первая книга не сходится со второй. Мистер Доббс этого не знает, но в конце года он станет сводить баланс и увидит, что продажи по счёту священника записаны у него по полуденной цене, а деньги пришли по вечерней. Он человек аккуратный.

В кабинете стало тихо. За стеклянной дверью старик-бухгалтер закрыл свою книгу и повесил зелёный козырёк на гвоздь. Мистер Крейн смотрел на неё долго, не мигая, и Ронни выдержала этот взгляд. Потом он улыбнулся, медленно, одними губами.

— Мистеру Доббсу шестьдесят восемь лет, — сказал он мягко. — Он уйдёт на покой в марте, я давно его об этом прошу. А вторую книгу, дитя моё, вы с этого дня будете вести сами, и ключ от ящика будет у вас. Как вы думаете, вам это по силам?

— Да, сэр.

— Я так и думал, — сказал мистер Крейн. — Ступайте наверх. На лестнице темно, держитесь за перила.

Ключ он отдал ей на другое утро, медный, на шёлковом шнурке, и Ронни надела его на шею под платье. Ключ был холодный и долго не согревался.

Сцена 2. Ронни. Кларк-стрит, 1885

В первую субботу ноября мистер Крейн отпустил контору, как всегда по субботам, в два часа, но Ронни не отпустил. Он дал ей запечатанный конверт без адреса и велел отнести его на Кларк-стрит, в ту самую маленькую контору с доской за стеклом, и отдать в руки человеку по фамилии Мэрфи, а не приказчику. Конверт был толстый. Ронни сунула его за пазуху, под платье, и вышла на улицу. Сумочку, купленную на прошлой неделе за сорок центов у разносчика, она повесила на руку, как носили все приличные молодые особы на Ла-Саль-стрит. В сумочке у неё лежали доллар сорок центов, оставшиеся до жалованья, и карандаш.

На Кларк-стрит было людно, как бывает людно в субботу, в день жалованья. По мостовой, в бурой снежной каше, тянулись ломовые подводы, кэбы и вагоны конки с заиндевевшими окнами. Народ шёл по тротуарам сплошной толпой. У одного под мышкой был гусь, завёрнутый в газету, у другого свёрток из мясной лавки; женщины в капорах несли корзины. Из дверей салунов на углах, когда их открывали, тянуло теплом, пивом и опилками. Ронни шла быстро, держась ближе к витринам. Конверт за пазухой лежал плотно; она прижимала его локтем и думала о том, что в нём, должно быть, долларов четыреста, если судить по прошлой субботе.

У табачной лавки, где в витрине стоял деревянный индеец с перьями, её толкнули сзади. Толкнули несильно, по-уличному, и тут же она ощутила лёгкое движение у локтя, там, где висела сумочка. Том учил её этому три года, на вокзалах Коламбуса и Цинциннати, в толпе у ярмарочных балаганов. Оборачиваться и кричать нельзя; нужно сразу брать руку, которая в сумке, чуть выше кисти, и держать. Ронни взяла. Не оборачиваясь, она протянула назад левую руку, нашла чужое запястье, тонкое, холодное, с острой косточкой, и сжала его Томовой хваткой. Запястье дёрнулось и замерло.

— Ой, мэм, — сказал позади неё голос, ломкий, мальчишеский. — Пустите, мэм, я нечаянно.

Ронни уже набрала воздуху, чтобы крикнуть полисмена, который стоял на перекрёстке в своём длинном сукне с медными пуговицами, и тогда только повернула голову.

Это был мальчишка лет двенадцати, рыжий, с рыжим же вихром, торчавшим из-под старого картуза, и лицо у него было всё в веснушках, бледное от холода, с красным носом. Пальто на нём было мужское, подпоясанное верёвкой, рукава подвёрнуты в три раза, а на ногах были чужие башмаки, мужские, со сбитыми носами, и надеты они были на босу ногу; Ронни видела в прорехах его голые красные щиколотки. В другой руке, которую она не держала, у него ничего не было. Сумочка висела на её локте открытая, но доллар сорок центов и карандаш были на месте: воровать он не умел совсем.

Под мышкой у мальчишки была газета. Это была «Трибюн», сегодняшняя, и сложена она была на биржевой странице, на столбцах котировок, аккуратно, вчетверо, по-конторски.

— Это что? — спросила Ронни и показала глазами на газету.

— Читаю, мэм, — сказал он и шмыгнул носом. — Пшеница вчера упала на три цента.

Ронни посмотрела на газету, потом на полисмена на перекрёстке, который ещё ничего не заметил. Полисмен этот отведёт мальчишку в участок на Харрисон-стрит, и там его продержат до утра, а потом, если судья будет не в духе, отправят в исправительный дом, как отправляли в Коламбусе мальчишек, которые лазили по чужим карманам на вокзале. Том однажды выкупил оттуда за пять долларов сына своего знакомого. Пять долларов — вот сколько стоил тогда мальчишка, и Том отдал их не раздумывая.

— Читай, — сказала Ронни. — Вслух. Отсюда.

Она отпустила его запястье и ткнула пальцем в столбец. Мальчишка посмотрел на неё снизу вверх, решил, видно, что бежать ещё успеет, развернул газету и стал читать, тут же, на тротуаре, у деревянного индейца, а люди обходили их обоих, задевая плечами. Читал он

громко, нараспев, как читают в школе, и не пропускал ни одной цифры. Пшеница на январь, пшеница на май, кукуруза, овёс, свинина, сало. Запнулся он только на железных дорогах, на «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол», и на «Чикаго, Берлингтон и Куинси», и, запнувшись, покраснел.

— Кто тебя учил? — спросила Ронни.

— Сам, мэм. По газетам. Я их продаю у Палаты, на Джексон-стрит, а котировки читаю, пока стою, чтобы не так холодно было. Маклеры, бывает, спрашивают, почём что, и дают цент.

— Как тебя зовут?

— Финн, мэм. Финн Райли.

— Где ты спишь, Финн Райли?

— У газетчиков, в ночлежке, когда есть десять центов. Когда нет, у пекарни на Адамс-стрит, там решётка тёплая.

Ронни застегнула сумочку и посмотрела на его башмаки. Такие башмаки она сама носила полгода, в восемьдесят втором году, когда Том нашёл её на улице, и они тоже были чужие и тоже надеты на босу ногу.

— Пойдём, — сказала она.

— Куда, мэм? — спросил Финн и посмотрел на полисмена.

— Сначала на Кларк-стрит, в одну контору, — сказала Ронни. — А потом к моему хозяину. И не вздумай бежать: я бегаю быстрее.

Конверт она отдала человеку по фамилии Мэрфи в руки, как было велено, и Мэрфи, толстый, в жилете, с сигарой в углу рта, пересчитал при ней деньги и не посмотрел на мальчишку, стоявшего у двери. Мистер Крейн был ещё у себя. Он сидел в кабинете при одной лампе, в пальто, и подписывал последние письма недели, и, когда Ронни вошла и мальчишка в чужих башмаках вошёл за ней следом, на ковёр, он поднял голову и отложил перо.

Говорила она недолго. Она сказала, что рассыльному Джиму пятнадцать лет и что весной он уйдёт к маклерам, как уходят все рассыльные, и что этот мальчик читает котировки лучше Джима и знает в лицо половину маклеров у Палаты. Она сказала, что он будет бегать с её записками, а платить ему можно меньше, чем Джиму. Больше она ничего не сказала. Мистер Крейн слушал, сложив белые руки на столе, и смотрел на неё, а на мальчишку не смотрел вовсе.

— Вы в первый раз меня о чём-то просите, дитя моё, — сказал он, когда она договорила.

— Да, сэр.

— Хорошо, — сказал мистер Крейн мягко. — Три доллара в неделю. Только запомните: за мальчика отвечаете вы. Каждый цент, который он у меня возьмёт, я вычту из вашего жалованья, а не из его.

— Он не возьмёт, сэр.

— Тогда вам нечего бояться, — сказал мистер Крейн и снова взял перо. — И купите ему башмаки. Скажите Доббсу, пусть запишет на меня.

На улице уже горели фонари. Финн шёл рядом с ней по Ла-Саль-стрит, шлёпая чужими башмаками по снежной каше, и молчал до самого угла.

— Мэм, — сказал он на углу. — А вы бы правда крикнули полисмена?

— Правда, — сказала Ронни.

Финн подумал и кивнул.

Ночевать в ночлежку она его не отпустила. В тот вечер она провела его по чёрной лестнице к себе под крышу, постелила ему на полу, между кроватью и умывальником, свой старый плед и вместо подушки свернула жакет. Через неделю, с первого жалованья, она купила ему в лавке на углу соломенный тюфяк, подушку в полосатой наволочке и серое шерстяное одеяло. Финн застелил всё это сам, долго разглаживал одеяло ладонью и сказал, что так удобно ему не было ещё никогда в жизни.

Сцена 3. Ники. Контора отца, 1885

Наутро после приезда, в понедельник, девятнадцатого октября, папа спустился в контору в половине восьмого, и Ники спустилась с ним. Спускаться было недалеко. Квартира, где они поселились, помещалась во втором этаже узкого дома из серого камня на Ла-Сальстрит, в трёх кварталах от Торговой палаты, прямо над папиной конторой. Папа держал её за собой уже несколько лет, с тех пор как завёл в Чикаго своё отделение. Обставлена она была похолостяцки: три спальни, столовая с кожаным диваном и буфетом орехового дерева, кухарка-шведка, приходившая к шести, и человек при доме, который чистил папе сапоги и подавал кофе. Лиззи в первый же вечер переставила в столовой стулья, повесила на окна мамины кружевные занавеси, привезённые в сундуке, и сказала, что теперь здесь хотя бы можно жить. Том, которому отвели каморку за кухней, ворчал, что в этом городе даже у лошадей нет своего двора. Контора внизу была в одну комнату, с барьером, конторкой и несгораемым шкафом. За конторкой с утра до вечера сидел старый приказчик, мистер Тиббетс, который служил у папы с самого открытия отделения и знал на Палате всех, кого стоило знать. Теперь в конторе пахло свежей краской. Маляр в белом фартуке, стоя на стремянке с той стороны окна, выводил на стекле золотыми буквами по чёрному полю «Ч. Лэнгли и К°. Зерно. Комиссионные операции», и буквы выходили у него наоборот, так что изнутри их можно было прочесть только в зеркале.

— Ну, миссис Мерсер, — сказал папа, когда они сели за большой дубовый стол у окна, а мистер Тиббетс за барьером принялся разбирать утреннюю почту. — Раз уж ты меня сюда притащила, давай посмотрим, чему тебя учить.

Он поставил на стол ящик с книгами. Это были его книги за пять лет, и он вынимал их одну за другой и клал перед ней. Последней он вынул толстую конторскую книгу в мраморном переплёте, с кожаным корешком и медными уголками, совсем новую, купленную вчера на вокзале, и раскрыл её на первой странице, ещё чистой.

Мраморный переплёт был синий с рыжими прожилками, и от новой бумаги пахло клеем. Ники смотрела на него и видела другую такую же книгу, в другой конторе, на другом конце этой же улицы. Ей вспомнилась контора мистера Крейна вся, от двери с матовым стеклом до медного барьера, и стол у окна, у двери в кабинет, за которым она просидела потом не один год.

— Ники, — сказал папа. — Ты меня слушаешь?

— Слушаю, папа.

— Так вот. — Папа постучал пальцем по раскрытой странице. — Все, кто будет говорить тебе в этом городе о деньгах, будут говорить о риске. Риск — дело честное. Ты покупаешь пшеницу на май, потому что думаешь, что к маю она подорожает, и если ошибёшься, потеряешь свои деньги или деньги клиента, который тебе их доверил и знает, чем рискует. А обман — это когда теряет клиент, а ты знал об этом заранее и промолчал. Или когда ты знал, да ещё и заработал на этом. Разница тут в одном: кто что знал. Понятно?

— Понятно, папа.

— Тогда смотри сюда.

Он положил перед ней счета чикагских комиссионных контор, через которые продавал и покупал пшеницу эти пять лет, и телеграммы к ним, сколотые булавками по месяцам. Ники стала читать. Она читала сначала цифры, потом даты, потом часы на телеграммах, и только потом слова. Папа сидел рядом, курил и объяснял ей, что такое маржа и онкольная ссуда. Объяснял он медленно, по-хорошему, и Ники кивала, задавала вопросы, на которые знала ответ, и один раз нарочно ошиблась в процентах, чтобы он её поправил. Он поправил и засмеялся.

Через час она отложила одну пачку телеграмм отдельно.

— Папа, — сказала она. — Вот эта контора, «Пирс и Тэтчер». Ты им шесть раз давал приказ продать, когда пшеница падала, и они шесть раз продавали по самой низкой цене дня.

Вот телеграмма: «Продать немедленно по рынку». Отправлена в десять двадцать. А продано по восьмидесяти семи с восьмой, в час дня, когда было ниже всего, и деньги пришли по этой цене. В десять двадцать, по «Трибюн», было восемьдесят семь и пять восьмых. Половина цента с бушеля, шесть раз, по пять тысяч бушелей. Сто пятьдесят долларов.

Папа взял у неё телеграммы и перебрал их одну за другой.

— Может, они не успели, — сказал он.

— Может быть. Только они ни разу не успели продать по высокой цене, папа. Все шесть раз они успевали к самой низкой.

Папа ничего не ответил. Он разложил телеграммы по столу в ряд, одну за другой, и стал сверять их со столбцами старых газет, привезённых Лиззи из Коламбуса в картонке. Сверял он долго, водя пальцем по столбцам, и сигара у него погасла. За окном маляр дописал последнюю букву и слез со стремянки.

— Сто пятьдесят шесть долларов с четвертью, — сказал наконец папа. — Ты ошиблась на шесть с четвертью, дочка.

— На восьмую в июле, — сказала Ники. — Я её не посчитала.

Папа снял очки, вынул платок и стал их протирать, медленно, обстоятельно, как протирал в Коламбусе, когда в книге не сходилось сальдо и он хотел подумать. Потом он надел их и посмотрел на неё.

— Где ты этому научилась?

— У тебя, папа. По твоим же книгам.

— По моим книгам этому не учатся, — сказал папа. — По моим книгам этому учатся лет за десять, а ты сидишь над ними час. Ну да ладно. — Он вздохнул и придвинул к себе новую книгу в мраморном переплёте. — Значит, так. С «Пирсом и Тэтчером» мы с этого дня дел не ведём, и я им об этом напишу сам, вежливо, без объяснений, пусть гадают. А ты запомни главное, раз уж ты у меня такая быстрая. Книга у нас будет одна. Вот эта. Всё, что мы делаем, пишем сюда, своей рукой, и всякий, кто имеет право спросить, может её открыть и прочесть. Если у человека две книги, дочка, у него и лиц два, и рано или поздно он сам перестаёт помнить, которое настоящее.

Ники смотрела на новую книгу.

— Одна, папа, — сказала она.

Папа обмакнул перо в чернильницу и вписал на первой странице, вверху, своим крупным наклонным почерком: «19 октября 1885 года. Чикаго». Потом подумал и протянул перо ей.

— Пиши дальше ты, — сказал он. — У тебя почерк лучше. Мистер Тиббетс говорит, как у кассира в банке.

Ники взяла перо. Первой строкой в новой книге она записала письмо «Пирсу и Тэтчеру» о прекращении дел, с датой и без суммы.

Сцена 4. Ники. Кларк-стрит, 1885

В первую субботу ноября, в третьем часу, Ники надела шляпку с длинной креповой вуалью и взяла с подзеркальника в передней свою чёрную сумочку на шнурке. Папе она сказала, что ей нужны чернила, промокательная бумага и ещё одна книга для писем, а купить их лучше всего на Кларк-стрит. Папа, не отрываясь от телеграмм, велел взять с собой Тома. Том надел пальто с бобровым воротником, которое терпеть не мог, и пошёл за ней в десяти шагах, как ходил за ней в Коламбусе по ярмарке, — большой, неторопливый, с руками в карманах. Перед тем как выйти, Ники открыла сумочку, вынула из неё кошелёк и положила вместо него, прямо на дно, серебряный доллар, четыре монеты по десять центов и карандаш.

«Доллар сорок, — подумала она. — Пускай будет всё как было». Кулон под чёрным крепом потеплел, и она застегнула сумочку.

На Кларк-стрит всё было то же самое, до гуся, завёрнутого в газету, у кого-то под мышкой, и Ники шла сквозь субботнюю толпу не глядя под ноги. Перед её трауром люди расступались, и одна женщина с корзиной перекрестилась ей вслед.

У табачной лавки Ники остановилась и стала смотреть на деревянного индейца в витрине, раскрашенного в красное и жёлтое, с пучком деревянных сигар в поднятой руке. В тёмном стекле витрины, за его плечом, отражалась улица: подводы, котелки, чья-то белая лошадь, и в толпе, шагах в трёх у неё за спиной, рыжий картуз, который не двигался, когда двигались все. Ники видела, как картуз постоял, потом подался вбок, ближе, ещё ближе, как из рукава мужского пальто, подвёрнутого в три раза, высунулась красная от холода рука и потянулась к её локтю, туда, где висела сумочка. Дальше этого рука не дотянулась. Ники, не оборачиваясь, протянула назад левую руку, нашла запястье, тонкое, холодное, с острой косточкой, и взяла его чуть выше кисти, как учил Том. Том в десяти шагах вынул руки из карманов. Ники, не поворачивая головы, чуть подняла правую ладонь, и он остановился.

— Я ничего не брал, мэм! — сказал позади неё ломкий мальчишеский голос. — Вот вам крест, не брал!

— Знаю, — сказала Ники. — Не успел.

Тогда только она обернулась.

Он был такой же, как тогда, и всё-таки она смотрела на него так долго, что он перестал вырываться. Рыжий, с рыжим вихром из-под картуза, лет двенадцати, в мужском пальто, подпоясанном верёвкой, и в чужих башмаках на босу ногу. Лицо было всё в веснушках, бледное от холода, с красным носом, и веснушки эти Ники знала все до одной. Последний раз она видела их на побелевшем лице двадцатидвухлетнего молодого человека. Он стоял перед ней на коленях на ковре в столовой, прямо в её крови, прижимал к её боку свой платок и повторял: «Мисс Лэнгли, мисс Лэнгли, сейчас доктор…» Доктор тогда не успел. Ники крепче сжала тонкое запястье и подняла вуаль.

Под мышкой у мальчишки была «Трибюн», сегодняшняя, сложенная вчетверо на биржевой странице, на столбцах котировок.

— Это что у тебя? — спросила она.

— Читаю, мэм, — сказал он и шмыгнул носом. — Пшеница вчера упала на три цента.

— На три с восьмой, — сказала Ники. — Майская. Читай вслух.

Мальчишка посмотрел на её лицо, потом на Тома. Том стоял в десяти шагах и смотрел на него. Мальчишка развернул газету и стал читать, громко, нараспев, как читают в школе. Запнулся он на «Чикаго, Берлингтон и Куинси» и покраснел. Ники ждала этой запинки и, когда она пришла, засмеялась под вуалью, вполголоса, так что услышал только он.

— Как тебя зовут?

— Финн, мэм. Финн Райли.

— Пойдём, Финн Райли, — сказала Ники. — Мне нужны чернила, промокательная бумага и рассыльный. Чернила купим здесь, а рассыльного я уже нашла.

Том двинулся к ним сквозь толпу, и Финн попятился. Он перевёл глаза с её чёрной вуали на Тома, и веснушчатое лицо у него сделалось злым.

— Ловко придумали, — сказал он. — Вдовушка, а сзади фараон в бобрах. Знаю я, куда вы меня поведёте.

Он вывернул запястье у неё из пальцев, нырнул под оглобли ломовой подводы и пустился наутёк. Ники кинулась было за ним, но длинный чёрный подол захлестнул ей ноги, а Том добежал до угла только затем, чтобы увидеть, как рыжий картуз мелькнул за вагоном конки и пропал.

Чернила и книгу для писем она купила через два дома, и свёрток домой нёс Том. За обедом Ники рассказала всё папе.

— Он читает котировки по «Трибюн» лучше, чем половина маклеров на Палате, папа, и знает их всех в лицо, потому что продаёт им газеты на Джексон-стрит. Он пытался украсть у меня из сумочки доллар сорок центов и карандаш, но не успел. Я думаю, это от недостатка практики.

Папа засмеялся своим низким раскатистым смехом.

— Доллар сорок и карандаш, — повторил он. — Ну, на таком деле он разбогатеет не скоро.

После обеда папа надел пальто и сам пошёл на Джексон-стрит. Старику, который торговал газетами у подъезда Палаты, он оставил полдоллара и записку: «Финну Райли. Полиция тут ни при чём. Ч. Лэнгли и К°, Ла-Саль-стрит, спросить мистера Лэнгли».

В понедельник, в одиннадцатом часу, когда мистер Тиббетс разбирал вторую почту, дверь конторы приоткрылась, и в щель просунулся рыжий картуз. Финн вошёл боком, с запиской в кулаке, и остановился у самой двери, так, чтобы было куда бежать. Том, который колол в передней лучину для печки, встал у него за спиной.

— Вы, сэр, не из полиции? — спросил Финн.

— Нет, — сказал папа. — Сколько тебе лет?

— Двенадцать, сэр. Кажется.

— Кажется, — сказал папа. — Хорошо. Три доллара в неделю, стол и постель. Том, найдётся у тебя место?

— Найдётся, сэр, — сказал Том мрачно. — У меня в каморке, на сундуке. Только пускай сперва вымоется. Святой Патрик, да у него ноги синие.

— И башмаки ему купи, — сказал папа. — Сегодня же, до закрытия.

Ники смотрела на папу и ждала. Папа ничего не сказал. Он посмотрел на мальчишку внимательно, по-хозяйски.

— А если он у тебя что-нибудь стащит, папа? — спросила Ники.

— Тогда, значит, я плохо его учил, — сказал папа. — Садись, Финн. Нет, не туда, на стул. Посмотрим, что ты там вычитал в своей газете.

Вечером, после ужина, когда Том отвёл вымытого Финна в новых башмаках в комнату за кухней и вернулся, а Лиззи ушла к себе, папа не пошёл спать. Он разложил на обеденном столе, под лампой, «Трибюн» за неделю и стал объяснять, по столбцам, что такое пшеница на май и что такое пшеница на январь и почему одна дороже другой. Объяснял он им двоим сразу, Ники и Финну, которого Том через полчаса привёл обратно, потому что мальчишка не спал и сидел на сундуке, прислушиваясь к голосам в столовой. Финн слушал, открыв рот, и спрашивал, а Ники слушала и не спрашивала ничего. В одиннадцатом часу Финн уснул прямо за столом, положив голову на «Трибюн», и папа отложил газету.

— Неси его, Том, — сказал он вполголоса. — Мистеру Райли завтра с утра на службу.

Ники достала из сумочки серебряный доллар и четыре монеты по десять центов и положила их перед ним на стол.

— Твои, — сказала она. — Ты за них сегодня потрудился.

Сцена 5. Ники. Статья, 1885

В середине декабря, в субботу, пришло письмо из Коламбуса, от Эми, на четырёх страницах, исписанных крупным ученическим почерком: Клара каждый вечер спрашивает, сколько ещё дней до Рождества, а Джордж выучил наизусть все станции до Чикаго.

В тот же день за завтраком Ники нашла ещё одну заметку, в той самой «Трибюн», которую папа каждое утро раскрывал на котировках, а потом, прочитав котировки, оставлял на краю стола, у сахарницы. Заметка стояла на третьей полосе, в отделе финансовых новостей, между сообщением о дивидендах железной дороги «Чикаго и Северо-Западная» и объявлением о торгах на имущество обанкротившейся пивоварни, и набрали её тем же мелким шрифтом, что и всё вокруг.

«Нью-Йорк, 11 декабря. Нам сообщают, что с первого числа сего месяца мистер Натаниэль Эшфорд, единственный сын мистера Уильяма Эшфорда, главы известного банкирского дома на Уолл-стрит, вступил компаньоном в дело своего отца, и фирма отныне будет именоваться «Уильям Эшфорд и сын». Молодой мистер Эшфорд, которому нет ещё и двадцати пяти лет, хорошо известен в нашем городе: этим летом он приобрёл место в Чикагской торговой палате и вёл здесь дела с большим успехом и не меньшей осмотрительностью. В деловых кругах Уолл-стрит это решение встречено с полным одобрением. Говорят, что западные операции банкирского дома будут теперь сосредоточены в руках младшего компаньона, который сохраняет за собой и собственные интересы на Чикагской бирже».

Ники прочитала заметку медленно, и положила газету на скатерть.

— Что там такое, дочка? — спросил папа, не поднимая глаз от тарелки.

— Пшеница на май, папа, — сказала Ники. — Опять поднялась на восьмую.

— Знаю, — сказал папа. — Я тебе это сказал ещё вчера.

Папа спустился в контору, где мистер Тиббетс уже разбирал почту, и Финн, допив кофе стоя, побежал на Палату с первой запиской. Тогда Ники вырезала заметку и поднялась к себе. Зелёный альбом лежал в комоде, под стопкой чёрных платков с траурной каймой. Она раскрыла его на девятой странице, после бала у миссис Палмер, вклеила вырезку и разгладила её ладонью. Потом взяла карандаш и подписала внизу мелким конторским почерком: «Декабрь 1885. 24 года. Партнёр банка».

Мысль эта пришла к ней ещё в поезде, в октябре, когда за окном потянулись чикагские пригороды, мокрые склады и элеваторы, и делалась всё сильнее по мере того, как неделя проходила за неделей. В Коламбусе ей было кого спасать, и всех их она знала в лицо. В Чикаго их было больше, чем она могла удержать в голове: сотни людей, которых в ближайшие десять лет обманет мистер Крейн или разорит Ла-Саль-стрит. Сколько из них она вспомнит вовремя? И сколько вспомнит через неделю после того, как всё уже случится? Ники подумала и сделала то, что умела: завела книгу.

На чистой странице, следом за вырезкой, она провела карандашом черту и, как в конторской книге, расчертила графы: «Кто. Когда. Должно было. Стало». Сначала она переписала туда всех, кого уже спасла, от папы с мамой до Тома; их вышло восемь человек. Ники долго смотрела на эту страницу, на две последние графы, где против каждого «должно было» стояло своё «стало», и на душе у неё сделалось тепло. «Значит, всё это было не напрасно, — подумала она. — Восемь человек. Всех, кого смогла. Всех, кого люблю». Она нащупала под платьем гранатовый кулон и долго держала его в кулаке. «Спасибо тебе, — подумала она. — За вторую жизнь».

Потом она перевернула страницу, расчертила новую таблицу и стала записывать, что будет этой зимой. Снег на Ла-Саль-стрит, вагоны с зерном на запасных путях, швед с северного рукава реки и его вексель банку к первому марта — с этого она и начала. Она написала:

Олсон, швед, элеватор на северном рукаве. Февраль 1886. Должно было: отдал пшеницу мистеру Крейну за бесценок и разорился.

Графу «Стало» она оставила пустой: до марта было ещё далеко.

С тех пор так и повелось: за каждой вырезкой о нём шла у неё страница с графами.

Наутро, пока папа брился, Ники спустилась в каморку за кухней, где Том у окна чистил папины сапоги, и положила перед ним альбом, раскрытый на странице с графами.

— Это мне снится, Том, — сказала она. — Как тогда, в Коламбусе. Сначала снится, а потом сбывается. Я записываю, чтобы ничего не забыть.

Том вытер руки о фартук, прежде чем взять альбом, и долго читал первую страницу, шевеля губами. Против его имени там стояло: «Должно было: умер от жара после часа в воде, под пристанью в Цинциннати. Стало: жив». Он прочёл это два раза, потом перевернул страницу и прочёл про шведа.

— Северный рукав, — сказал он. — Это где лесные склады. Узнаю, мисс Ники, кто такой.

— Только никому, Том. Ни папе, ни Лиззи. Никому.

— А кому мне говорить? — сказал Том и отдал ей альбом. — Сапогам?

В доме знали, что у Ники есть дневник в зелёном коленкоре и что трогать его нельзя. Что в нём на самом деле, знал один Том.

Сцена 6. Нейт. Компаньон, 1885

В кабинете на Пятой авеню всё оставалось таким же, каким Нейт оставил его весной: письменный стол красного дерева, лампа под зелёным абажуром, освещавшая только бумаги и руки отца, и над камином прадед в напудренном парике, получивший некогда от английского короля землю на Гудзоне. Был поздний октябрьский вечер. За окнами шёл холодный дождь, и по Пятой авеню, разбрызгивая лужи, проезжали последние кареты из театров. Нейт стоял у двери и ждал, что скажет отец.

— Садись, Натаниэль, — сказал мистер Эшфорд. — Разговор будет долгий.

Нейт сел. Отец постарел за эти полгода: бакенбарды у него совсем побелели, а под глазами, когда он снял очки, обозначились мешки, которых весной ещё не было. Он долго перекладывал бумаги, выравнивая их края, и пощипывал бакенбарды с озабоченным видом. Письмо, которое догнало Нейта в Чикаго за неделю до бала у миссис Палмер, было в четыре строки, а в конце отец написал, что откладывать этот разговор дальше не намерен. Такого письма Нейт от него ещё не получал.

— Ты знаешь, что «Мерритт и Кº» приостановили платежи, — сказал наконец отец.

— Знаю, сэр. Четырнадцатого октября. Я был на Палате, когда об этом объявили.

Дело обстояло так. Банк Эшфордов держал векселей «Мерритт и Кº» на триста восемьдесят тысяч долларов, выданных под пшеницу на чикагских складах фирмы, а пшеницы на этих складах, как теперь выяснилось, не было и половины. Лондонские корреспонденты банка требовали объяснений с каждой почтой. Хардинг, старший конторщик, служивший у Эшфордов двадцать шесть лет, каждое утро клал на стол отцу новую телеграмму. И никто в банке на Уолл-стрит не знал толком ни Чикаго, ни его складов, ни людей, которые там торговали.

— Лондон спрашивает меня, кто у Эшфордов знает Запад, — сказал мистер Эшфорд и надел очки. — Я отвечаю, что Запад знает мой сын, который полгода торговал в Чикаго зерном и, как я слышу, торгует неплохо. Мне шестьдесят один год, Натаниэль. Банку нужен Эшфорд, который поведёт его после меня. С первого декабря я беру тебя компаньоном. На вывеске будет «Уильям Эшфорд и сын». Западные дела банка ты возьмёшь на себя.

— На каких условиях, сэр?

— А какие условия ты хочешь?

Нейт помолчал. Он думал о том, что будет с его собственными делами в Чикаго, если он согласится на всё, чего захочет отец. Сорок тысяч долларов, оставленных ему бабушкой, он вложил в майские контракты на пшеницу через своего комиссионера на Ла-Саль-стрит. Место на Палате стоило ему ещё две тысячи. Станет ли отец терпеть эти дела рядом с делами банка? Позволит ли он сыну торговать на свои деньги и под своим именем, или потребует отчёта в каждом бушеле? И что скажет мать, которая с весны ждала, что он женится на мисс Ван Ренслер? Это был главный вопрос.

— Тогда позвольте мне их вам назвать, сэр, — сказал он. — Их два. Свои дела на Западе я веду сам, на свои деньги и под своим именем, и отчёта в них не даю ни вам, ни Хардингу. И на мисс Ван Ренслер я не женюсь.

Отец долго не отвечал. В камине осело полено, и по лицу прадеда на портрете прошёл красный отсвет. Нейт ждал, что отец сейчас встанет и скажет «можешь идти», как сказал весной. Тогда завтра же он снимет комнаты где-нибудь на Мэдисон-авеню и будет вести свои дела оттуда. Но мистер Эшфорд снял очки и потёр переносицу.

— Мисс Ван Ренслер в апреле выходит за младшего Скайлера, — сказал он. — Твоя мать узнала об этом на прошлой неделе и три дня не выходила к обеду. Дела на Западе веди как знаешь. Но и у меня условий два. Фамилия Эшфордов будет появляться в чикагских газетах не чаще раза в год. И твои убытки на Западе останутся твоими: банк не покроет из них ни доллара.

— Согласен, сэр.

— А о женитьбе поговорим после.

— Об этом, сэр, мы говорить не будем вовсе. Иначе не будет и первого.

Отец ничего не ответил. Он обмакнул перо и медленно, ни разу не подняв головы, написал на бланке банка письмо в редакцию «Ивнинг пост», в три строки: с первого декабря мистер Натаниэль Эшфорд вступает компаньоном в банкирский дом своего отца.

— Ты доволен? — спросил отец, протягивая ему лист.

— Да, сэр.

— Ступай и скажи матери сам. И Корнелии скажи: она с утра тебя дожидается.

Корнелия ждала его в библиотеке. Двадцатилетняя, она любила брата больше всех в доме и весь вечер боялась, что отец выгонит его во второй раз. Когда Нейт сказал ей, чем кончился разговор, она сначала не поверила, а потом засмеялась, зажав рот обеими руками, чтобы не услышала мать.

Ночью, у себя наверху, Нейт написал длинное письмо в Чикаго, своему комиссионеру: какие майские контракты держать, какие закрыть и кому из маклеров больше не доверять. Он запечатал его и положил на поднос для утренней почты.

Пятого декабря в «Ивнинг пост» напечатали три строки. Чикагские газеты перепечатали их через неделю.

Глава 2

В феврале, в среду, накладные с элеватора на южном рукаве реки показали, что у мистера Крейна лежит там сорок тысяч бушелей овса, за который никто не давал настоящей цены. Винокуренному заводу в Пеории к пятнице нужно было поставить по контракту двадцать тысяч бушелей кукурузы, которой у него не было вовсе. Заметила это Ронни, просидев над накладными всё утро; в одиннадцать часов она положила ему на стол записку в три строчки, и через четверть часа он позвал её к себе.

— Садитесь, дитя моё, — сказал он и указал ей на стул у камина. — Вы видите, какое у нас положение. Овёс лежит, и элеватор берёт с меня полцента с бушеля за каждые десять дней, то есть двести долларов, пока я сижу и смотрю на него. Комиссионеры на Палате дают двадцать семь с четвертью, а цена на доске двадцать восемь с половиной, и они это знают, и я это знаю. Кукурузы у нас нет вовсе. Посмотрите, что тут можно сделать. Продайте овёс, купите кукурузу и сделайте так, чтобы я об этом услышал только к вечеру.

— Сегодня, сэр?

— Сегодня, — сказал мистер Крейн и улыбнулся. — Завтра я сделаю это сам, но тогда это будет уже стоить мне дороже.

Ронни надела капор и пальто, которое купила в январе, тёмно-серое, с бархатным воротником, за четырнадцать долларов, и вышла. Финн ждал её внизу, в новых башмаках и в пальто, перешитом из старого пальто мистера Доббса.

Адреса комиссионных контор она знала из книг, все до одной. Знала она и то, кто у кого должен и кто кому продал на март больше, чем у него есть: всё это четыре месяца проходило через её руки, и она всё это помнила. Первые три часа она ходила по Ла-Саль-стрит от двери к двери. В одной конторе ей предложили двадцать семь с четвертью, как и говорил мистер Крейн. В другой двадцать семь с половиной, но только за половину партии. В третьей ей сказали, что с девицами дел не ведут и чтобы мистер Крейн приходил сам.

— Передам, сэр, — сказала Ронни. — Он придёт завтра. И цена завтра будет двадцать восемь.

Она вышла на лестницу и остановилась. Сорок тысяч бушелей овса по двадцать семь с четвертью — десять тысяч девятьсот долларов, по цене доски — одиннадцать тысяч четыреста, и ещё двести долларов элеватору за каждые десять дней. Пятьсот долларов собирались эти господа положить себе в карман с её овса, и положили бы, если бы она пошла к ним в четвёртый раз.

«А кто ест овёс? — подумала она. — Лошади. А у кого в этом городе больше всех лошадей?»

Внизу, на мостовой, звякнул колокольчик конки. Вагон шёл на запад, к реке, и две гнедые лошади в мокрых попонах тащили его по снежной каше, опустив головы. Ронни смотрела на них, пока вагон не скрылся за углом.

— Финн, — сказала она. — Где у конки Западной стороны конюшни?

— На Мэдисон-стрит, мэм, за рекой, у Западной Двенадцатой, — сказал Финн не задумываясь. — Там лошадей две тысячи, а то и больше. Я там летом подковы собирал, кузнец платил по центу.

Конюшни компании стояли за рекой, длинными кирпичными сараями в два этажа, и пахло от них за квартал навозом, мокрым сеном и креозотом. Смотритель конюшен, мистер Дуган, ирландец с седыми бакенбардами и с кожаным фартуком поверх жилета, принял её в дощатой конторке над воротами, где топилась чугунная печь и на стене висел календарь пивоварни. Он выслушал её, не вынимая трубки изо рта, и сказал, что овёс компания покупает у комиссионеров на Палате, как все.

— И сколько вы им платите сверх доски, мистер Дуган? — спросила Ронни.

Мистер Дуган вынул трубку.

— Сверх доски, мисс, мы платим полцента за комиссию да ещё полцента за доставку с элеватора сюда, к нам. Итого цент.

— Мистер Крейн продаст вам сорок тысяч бушелей по двадцать девять, с доставкой, — сказала Ронни. — Это на полцента дешевле того, что вы платите теперь. Доставку он берёт на себя.

Мистер Дуган посмотрел на неё долго, потом на Финна, который стоял у двери в своих новых башмаках, и снова на неё.

— Двадцать восемь с половиной, — сказал он. — С доставкой.

— Двадцать девять, мистер Дуган. Мне сегодня утром на Палате давали двадцать восемь с половиной без доставки, — сказала Ронни. Утром ей давали двадцать семь с четвертью, и мистер Дуган об этом знать не мог. — Если вы не возьмёте, я продам там, а вы завтра купите тот же овёс у них и заплатите им цент сверх доски, как платите всегда.

Мистер Дуган засмеялся, раскатисто, так, что затряслись бакенбарды, и ударил ладонью по столу.

— Двадцать восемь и три четверти, — сказал он. — И ни на восьмую больше, мисс, хоть вы меня режьте. Доставка ваша. Пусть ваш мистер Крейн присылает бумаги.

Кукурузу она купила в тот же день, к четырём часам, у той самой конторы, где с девицами дел не вели. Ронни знала из писем, что контора эта продала на март пшеницы больше, чем у неё было, и что ей до пятницы нужны наличные. Двадцать тысяч бушелей кукурузы на складе у реки ей отдали по цене доски, без всякой надбавки, и маклер, подписывая бумагу, ни разу не поднял на неё глаз.

Мистер Крейн выслушал её отчёт в пятом часу, стоя у окна, спиной к ней, и смотрел вниз, на Ла-Саль-стрит, где уже зажигали фонари.

— Ну что же, вы быстро управились, — сказал он. — Продали Дугану сразу всю партию, так? Это отличная сделка. Его нет в наших книгах, верно?

— Нет, сэр.

— Я так и думал. — Мистер Крейн повернулся к ней. — Ну, дитя моё, если вы можете делать такие дела на улице, вы недолго просидите у меня стенографисткой.

Он сел за стол, придвинул к себе листок и стал считать, медленно, вслух, водя по бумаге тонким карандашом. Сорок тысяч бушелей по двадцать восемь и три четверти — одиннадцать тысяч пятьсот. Против двадцати семи с четвертью у комиссионеров — шестьсот долларов. Доставка с элеватора на Мэдисон-стрит — сто двадцать. Остаётся четыреста восемьдесят. Он отсчитал из бумажника сорок восемь долларов, шесть недель её жалованья, и положил их на край стола, на то же самое место, куда в сентябре положил десять.

— Десятая доля, — сказал он. — Отныне вы будете получать её с каждой сделки, которую сделаете для меня на улице. Не благодарите. Я не делаю подарков, дитя моё, я плачу за работу.

Ронни взяла деньги. Сорок восемь долларов — это было больше, чем мама когда-то платила портнихе на Хай-стрит за платье на Пасху.

— И ещё одно, — сказал мистер Крейн, когда она была уже у двери. — Сколько, вы говорите, у них там лошадей, у конки Западной стороны?

— Финн говорит, тысячи две, сэр.

— Две тысячи лошадей, — повторил мистер Крейн задумчиво и посмотрел в окно, туда, где по Ла-Саль-стрит, звеня, шёл вагон конки. — И каждая ест каждый день. Ступайте, дитя моё. Вы мне сегодня рассказали больше, чем сами думаете.

Финн ждал её внизу; она купила ему на углу два горячих пирожка в промасленной бумаге, и они съели их тут же, у подъезда, под фонарём, и Финн всё это время молчал. Потом они вдвоём поднялись по чёрной лестнице мимо третьего этажа, где конторщики уже гремели

тарелками, к себе под крышу. Там она зажгла свечу и, пока Финн расстилал свой тюфяк между кроватью и умывальником, завязала деньги в носовой платок двойным узлом и спрятала на дно саквояжа.

Сцена 2. Ронни. Торговая палата, 1886

В середине апреля, во вторник, когда Ронни служила у него седьмой месяц, мистер Крейн в первый раз взял её с собой в Торговую палату. Новое здание палаты стояло в самом конце Ла-Саль-стрит, поперёк улицы, так что всякий, кто шёл по ней на юг, упирался в него глазами. Серый гранит и часовую башню над входом Ронни видела всю зиму с угла Ла-Саль и Адамс-стрит, когда носила письма на почтамт, и ни разу не была внутри. Женщин в члены палаты не принимали. На галерею для публики ходили приезжие фермеры в сапогах да дамы, которым хотелось посмотреть, где их мужья теряют деньги. Ронни не была ни фермером, ни дамой, и мистер Крейн провёл её наверх по боковой лестнице мимо швейцара, который поклонился ему и не посмотрел на неё.

Галерея опоясывала главный зал с трёх сторон, и сверху он был виден весь, от одной стены до другой. Зал этот был огромен, выше любой церкви, какую Ронни видела в своей жизни, и свет падал в него сверху, сквозь стеклянный потолок, ровный и серый. Вдоль стен стояли столы телеграфистов, и над каждым столом трещал ключ. На восточной стене висела чёрная доска во всю её ширину, и мальчишки в куртках с медными пуговицами бегали по мосткам перед ней, писали мелом цифры, стирали их рукавом и писали снова. Посреди зала лежали ямы, восьмиугольные, в несколько деревянных ступеней вниз, и на ступенях, затёртые в самую гущу теснившейся, орущей толпы, стояли плечом к плечу люди в котелках. Они вскидывали руки с растопыренными пальцами, лезли друг другу через плечо, хватали соседа за рукав, и ступени трещали под их напором. Шум поднимался до самой галереи и стоял под стеклянным потолком, так что Ронни скоро перестала различать в нём отдельные голоса. Пахло табаком, мокрым сукном и зерном: в образцовой комнате на столах стояли жестяные противни с пшеницей, и запах её проходил через весь дом.

— Пшеничная яма, — сказал мистер Крейн и показал вниз набалдашником трости. — Там кукуруза, дальше овёс и свинина. Кричат маклеры, дитя моё. Посмотрите на них хорошенько: они как стая голодных чаек, что налетают с подветренной стороны и выслеживают неосторожную рыбу. Своих денег у них нет. Деньги у тех, кто их посылает.

— А кто их посылает, сэр?

— Вот это вы мне и запишете.

Он усадил её в первом ряду, у самых перил, и показал, как читать руки. Ладонь, повёрнутая от себя, продаёт; ладонь к себе покупает; пальцы — это восьмушки цента сверх круглой цены, а сколько тысяч бушелей, маклер показывает, поднося пальцы ко лбу. Кто кому кивнул, тот тому и продал, и бумагу они сверят только вечером. Мистер Крейн назвал ей вполголоса десятка два маклеров у края пшеничной ямы, по фамилиям и по тому, на кого они работают, и велел записывать каждую сделку: кто, кому, сколько и почём, и в котором часу по большим часам над доской. Потом он ушёл вниз, в зал, и Ронни видела сверху его чёрный сюртук и лысеющую голову, когда он остановился у края ямы и заговорил с кем-то, не вынимая рук из-за спины.

Писала она до самого колокола. Крючки Питмана ложились в тетрадь мелко и тесно, строка за строкой, и к полудню у неё онемели пальцы в нитяной перчатке, а перчатку она сняла. Если не считать двух-трёх косых взглядов фермера, сидевшего рядом с ней в овчинной куртке и жевавшего табак, никто на галерее не обращал на неё ни малейшего внимания. Маклеры поднимали головы к доске, к часам, к телеграфистам у стены, но выше доски не смотрел никто, и Ронни сидела над ними весь день. Один маленький маклер с рыжими бакенбардами, в клетчатом жилете, продал за утро столько майской пшеницы, что она дважды пересчитала его сделки в тетради, прежде чем поверить. Мистер Крейн называл его ей утром: этот продаёт для Беккера

из Дубьюка. В четверть второго ударил колокол. Шум стал стихать, и люди в котелках стали выбираться из ямы, вытирая лбы и застёгивая сюртуки.

Вечером, после закрытия конторы, мистер Крейн позвал её в кабинет и долго, при одной лампе, читал её записи. Читал он их, как читают письма, переворачивая страницы тонким пальцем, и время от времени спрашивал, кто это и в котором часу. Потом он отодвинул тетрадь.

— Расскажите мне, что вы видели, дитя моё.

— Я видела, что маленький, с бакенбардами, продал за Беккера тридцать пять тысяч бушелей майской, сэр, — сказала Ронни. — У Беккера в открытых контрактах двадцать тысяч, это я знаю по нашим книгам, и маржу он вам не вносит с осени. Значит, пятнадцать тысяч маленький продал, которых у Беккера нет. А к закрытию май поднялся на цент с четвертью.

— И что из этого следует?

— Что завтра маленький пойдёт к Беккеру за разницей, а Беккер ему не заплатит. Он и вам не платит.

Мистер Крейн откинулся в кресле и посмотрел на неё своими бледными глазами.

— Каждый человек в этой яме кому-нибудь должен, — сказал он медленно. — Банку, маклеру, клиенту, жене. Узнайте, кому и сколько, и вы будете знать, что он станет делать в пятницу. Кто должен банку, тот продаёт, когда банк просит денег. Кто должен маклеру, тот продаёт, когда маклер пришлёт записку. А кто никому не должен, дитя моё, того в яме нет, тот сидит дома и стрижёт купоны. Сильный человек знает пятницу других людей раньше, чем они сами. Ступайте спать.

Назавтра, в одиннадцатом часу, секретарь палаты поднялся на трибуну, ударил молотком и прочёл фамилию маленького маклера с рыжими бакенбардами: он не внёс разницы по контрактам на майскую пшеницу. В яме на минуту стало тихо. Маленький стоял у нижней ступени, без котелка, с котелком в руке, и Ронни сверху видела, как у него покраснела шея над воротничком. Она записала в тетрадь час и минуту. Мистер Крейн внизу даже не повернул головы.

Так прошёл апрель. По вторникам и пятницам она сидела на галерее в первом ряду, а по вечерам Финн приносил ей на обороте телеграфного бланка фамилии маклеров, которых она описывала ему словами: толстый, в сером котелке, с перстнем на мизинце. Фамилии он знал все, потому что третий год продавал им газеты у входа на Джексон-стрит. К концу месяца Ронни знала яму наизусть, и мистер Крейн однажды, слушая её вечером, сказал, что она видит с галереи больше, чем он видит снизу. Раз на боковой лестнице маклер в сером котелке посторонился, пропуская её, и спросил, не дочь ли она того фермера из Айовы, который вчера сидел на галерее. Ронни сказала, что дочь, и маклер приподнял котелок.

К этому времени у Ронни завелись первые свои деньги. Десятая доля с четырёх сделок, сделанных для мистера Крейна на улице с февраля, составила сто шестьдесят два доллара, и она держала их в носовом платке на дне саквояжа. В каморке под крышей им с Финном стало тесно: тюфяк его лежал впритык к её кровати, и по утрам они одевались по очереди, отвернувшись к стене. «Пора», — подумала Ронни.

В последнюю пятницу апреля, после закрытия, она сказала мистеру Крейну, что с первого мая они с Финном будут жить на Вашингтон-стрит, на Западной стороне. Комнату ей нашёл Финн: третий этаж в доме вдовы железнодорожного кондуктора, как раз напротив Юнион-парка, окно на парк, пять долларов в неделю со столом и ещё доллар за мальчика.

Мистер Крейн выслушал её, не поднимая головы от телеграммы.

— Вы уходите от меня, дитя моё?

— Только ночевать, сэр. К восьми я буду здесь, как всегда.

Мистер Крейн отложил телеграмму, посмотрел на неё долго и улыбнулся.

— Это разумно, — сказал он мягко. — Конторщикам незачем знать, в котором часу вы гасите свечу. Напишите мне адрес на карточке.

Ронни написала. Он прочёл, сложил карточку пополам и положил в бумажник, к своим деньгам.

Переезжала она в субботу, первого мая. В этот день весь Чикаго бастовал за восьмичасовой рабочий день; ломовые не вышли, конка на Западной стороне ходила через раз, и откуда-то от озера, с Мичиган-авеню, весь день доносились барабаны и медные трубы. Финн выпросил у пекаря на Адамс-стрит ручную тележку, ту самую, на которой по утрам развозили хлеб, и они вдвоём повезли её сундучок через мост на Мэдисон-стрит, мимо закрытых складов и пустых конных дворов. На мосту Финн взвалил сундучок на плечо, потому что тележка застревала в щелях настила, и донёс его так до самого берега, красный, с мокрым вихром под картузом, и не позволил ей помочь.

В этот вечер, сидя в своей комнате, Ронни чувствовала себя превосходно. Комната была небольшая и чистая, с узкой кроватью под белым покрывалом, комодом, умывальником в мраморной доске и плетёным креслом у окна; в углу, за ситцевой занавеской, Финн уже постелил свой тюфяк. На стене висела литография с видом Ниагарского водопада, а за окном, за мостовой и чугунной оградой, темнели деревья Юнион-парка, и между ними горели газовые фонари. Внизу вдова гремела посудой и пела что-то про Шенандоа. Ронни посчитала: двадцать четыре доллара в месяц за комнату и стол при жалованье в тридцать два, и десятая доля сверх того, когда она есть, — к Рождеству она ещё и отложит. «Своя дверь и свой ключ, — подумала она. — Вот и славно, мисс Грант». Она сняла с шеи медный ключ на шёлковом шнурке, подержала его на ладони и надела обратно. Ключей от комнаты вдова дала ей два; второй Ронни отдала Финну.

Сцена 3. Ники. Первое поручение, 1886

Рождество они встретили в Коламбусе, всей семьёй, в доме над Олентанги, а тридцатого декабря папа, Ники, Лиззи, Том и Финн вернулись в Чикаго; мама с детьми и Эми должны были приехать весной, когда найдётся дом. Найти его оказалось делом нелёгким. На Прери-авеню, где папе хотелось жить, свободного дома не было ни одного, и агент полтора месяца только разводил руками, пока не узнал, что судья, живший в середине квартала, между Восемнадцатой и Двадцатой улицами, уезжает с семьёй в Европу надолго, может быть насовсем, и сдаёт дом с мебелью с первого мая, без срока. Папа снял его в тот же день, не торгуясь, и написал маме, что так даже лучше: дети пообвыкнут к мысли о переезде, а она спокойно уложит вещи.

До мая они так и жили над конторой, и Финн спал на своём сундуке в каморке у Тома. Для того, чему Ники нужно было выучиться той зимой, лучшего места во всём Чикаго нельзя было и придумать, и она потом не раз об этом думала. Из столовой в контору вела внутренняя лестница, узкая и крутая, и по ней она за день проходила вниз и вверх раз по десять: вниз к восьми, к мистеру Тиббетсу и утренней почте; наверх в четверть второго, когда на Палате звонил колокол и торги кончались, к обеду, который кухарка подавала тут же, так что папа не тратил на дорогу ни минуты; потом снова вниз, сводить дневные сделки, и вечером опять наверх, с книгами под мышкой, потому что папа позволял ей брать их с собой.

По вечерам в столовой горела лампа под зелёным абажуром. Папа читал «Трибюн» на кожаном диване и время от времени, не опуская газеты, спрашивал её, почём сегодня закрылась майская пшеница, а она отвечала, не отрываясь от книги. Лиззи у окна переписывала начисто папины письма. Том приходил из своей каморки за кухней заправлять лампы и рассказывал, каких лошадей видел за день на Ла-Саль-стрит, и папа слушал его и даже спорил с ним. Если вечером приносили срочную телеграмму, рассыльный звонил с улицы в контору, и Ники, накинув шаль, сбегала вниз раньше, чем папа успевал подняться с дивана.

Однажды вечером папа опустил газету и сказал, что двадцать лет ездил в контору в экипаже, а теперь спускается к ней в домашних туфлях и так близко к своему делу ещё не жил.

— Только дома пусто, — прибавил он. — Мама пишет, Клара каждый вечер спрашивает, скоро ли в Чикаго. А я поднимаюсь вечером наверх, и никто не бежит мне навстречу.

— До мая, папа, — сказала Ники. — В мае они все будут здесь, и Клара станет встречать тебя на лестнице на Прери-авеню. А пока у тебя есть я. Я тоже бегаю, вниз, за телеграммами.

Папа засмеялся и снова поднял газету.

В конце февраля, во вторник, обстоятельства сложились так, что папа решил её испытать. На элеваторе у южного рукава реки лежало тридцать тысяч бушелей овса, присланных ему на продажу фермерами из-под Коламбуса, его старыми клиентами, и элеватор брал с них полцента с бушеля за каждые десять дней, так что всякая неделя ожидания съедала их выручку. В тот же день пришла телеграмма от мистера Шуберта, мельника из Коламбуса, покупавшего через папу уже десятый год: ему к субботе нужно было десять тысяч бушелей яровой пшеницы второго сорта, а на Палате её в те дни было мало, и цену за неё держали крепко. Папа прочёл телеграмму за завтраком и долго мешал ложечкой кофе.

— Вот что, миссис Мерсер, — сказал он наконец. — Ты у меня пятый месяц сидишь над книгами и уже знаешь их лучше меня. Посмотрим, как ты знаешь улицу. Продай овёс и купи Шуберту пшеницу. Только не горячись. Если дадут двадцать семь с половиной, бери и не торгуйся: овёс нынче никому не нужен. Шуберт подождёт до понедельника, я ему напишу.

— Хорошо, папа, — сказала Ники.

Вышла она в одиннадцатом часу, в глубоком трауре, с вуалью; Финн шёл рядом с её папкой под мышкой, а Том, как всегда, в десяти шагах сзади. Сначала она обошла четыре комиссионные конторы на Ла-Саль-стрит, одну за другой, и всюду её встречали одинаково. В одной

давали двадцать семь с четвертью, в другой двадцать семь с половиной, и маклер, толстый немец в бархатной ермолке, называл цену, глядя на её вуаль. В третьей к ней и вовсе не вышли, а выслали конторщика сказать, что мистер Лэнгли может прийти и сам. Когда она выходила оттуда на лестницу, за её спиной, за матовым стеклом двери, кто-то сказал вполголоса, не очень заботясь, чтобы его не услышали:

— Миссис Мерсер. Вдова, говорят, осенью овдовела. И работает. В конторе у отца.

— Работает? — переспросил другой голос. — В трауре?

— В трауре, — сказал первый, и оба неодобрительно цокнули.

Финн покраснел до ушей. Ники взяла его за рукав и повела вниз.

— Не надо, Финн, — сказала она. — Они правы. Работает.

На мостовой звякнул колокольчик конки, и две гнедые лошади в мокрых попонах протащили вагон на запад, к реке. Ники проводила их глазами и быстро прикинула в уме. Конка кормила овсом тысячи лошадей, каждый день, в любую погоду и при любой цене, и брала его у тех же комиссионеров, которые только что давали ей двадцать семь с половиной.

— Финн, — сказала Ники. — Где у конки Западной стороны конюшни?

— На Мэдисон-стрит, мэм, за рекой, — сказал Финн. — Там лошадей тысячи две. Я летом подковы собирал.

Мистер Дуган принял её в той же дощатой конторке над воротами. Это был плотный седой ирландец с бакенбардами и с трубкой, которую он не выпускал из рук, двадцать лет покупавший фураж для конки и давно привыкший, что каждый, кто его продаёт, норовит на нём нажиться. Увидев её траур, он снял шапку и предложил ей единственный стул, а сам остался стоять у печи.

— Цена на доске сегодня двадцать восемь с половиной, мистер Дуган, — сказала Ники. — Комиссионеры давали мне утром двадцать семь с половиной, это правда, можете спросить у них сами. Вы платите им полцента за комиссию и полцента за доставку сюда. Мы продадим вам тридцать тысяч бушелей по цене доски, с доставкой. Это на цент дешевле, чем вам обходится теперь, и на цент больше, чем дали бы нам комиссионеры. Комиссионеры ничего не теряют, кроме того, чего у них и так не было.

Мистер Дуган сунул трубку в рот.

— Двадцать восемь с четвертью, мэм, — сказал он. — С доставкой. Вы мне сами сказали, что на Палате вам дают двадцать семь с половиной.

— Сказала, мистер Дуган. Я вам сказала всё как есть.

Мистер Дуган вынул трубку и засмеялся, раскатисто, так, что затряслись бакенбарды.

— Да уж, — сказал он. — Всё как есть. Мне такого, мэм, комиссионеры двадцать лет не говорили. Ладно. Двадцать восемь с четвертью, и доставка ваша. Только деньги, мэм, через шестьдесят дней: компания платит мне за фураж по кварталам, и раньше конца апреля наличных у меня не будет. А если мистер Лэнгли станет присылать мне овёс так каждый месяц, по такой же цене от доски, я, пожалуй, у комиссионеров больше брать не буду. У меня две тысячи сто лошадей, и все едят каждый день.

Про шведа с северного рукава Ники заговорила с Томом в первую неделю января, в тот вечер, когда папа обедал в клубе, а Лиззи рано ушла к себе. Том сидел в своей каморке за кухней, на сундуке Финна, и при свече чинил постромку. Строку про Олсона он уже читал в альбоме, и альбома Ники с собой не взяла. Она сказала только, что до марта осталось два месяца и что денег у чужих швед не возьмёт, а у папы и подавно.

— Такому денег не дашь, мисс Ники, — сказал Том, не поднимая головы от постромки. — Он и не возьмёт, пока его не вынут из реки. Ему бы покупателя на его зерно. — Он помолчал. — У сторожей при элеваторах языки длинные, особенно если им поставить пива. Съезжу я туда за овсом для гнедых и потолкую. Узнаем, сколько у него зерна и к какому числу вексель. А кому это зерно продать, это уж вы с папой знаете лучше меня.

Ники подумала и сказала, что так они и сделают, только про неё сторожу ни слова. Через три дня Том привёз с северного рукава два мешка овса и всё, что рассказал сторож: вексель банку к первому марта, элеватор полон до крыши, а покупателей нет с самого Рождества. С того вечера Ники и ждала, кому в Чикаго понадобится к пятнице хорошая пшеница.

Пшеницу для мистера Шуберта она купила к трём часам у мистера Олсона. Это был швед, большой, светлобородый, с красными руками, который держал маленький элеватор на северном рукаве реки, у самой Чикаго-авеню, и о котором не знали ни папины книги, ни «Трибюн»; о нём знала Ники, а от неё Том. Ему до первого марта нужно было заплатить банку по векселю, а наличных у него не было. Ники вошла в его контору, где пахло мышами и пылью, и мистер Олсон встал из-за стола и посмотрел на неё в упор: он ждал, что ему сейчас назовут цену, и знал, что согласится.

— Десять тысяч бушелей, мистер Олсон, — сказала Ники. — По цене доски на сегодня, на час дня. Наличными, завтра утром, чеком на «Юнион нэшнл».

Мистер Олсон сел. Он снял шапку и долго держал её в руках.

— По цене доски, мэм? — переспросил он.

— По цене доски.

— А почему вы не дадите меньше? — спросил швед и сам испугался своего вопроса. — Другие бы дали.

— Потому что пшеница у вас хорошая, — сказала Ники. — И потому что в будущем году нам опять понадобится яровая.

Папа выслушал её в пятом часу, за дубовым столом, при лампе, и не сказал ничего, пока она не договорила. Потом он взял её записи и стал считать сам, на полях, карандашом, как считал в Коламбусе. Тридцать тысяч бушелей по двадцать восемь с четвертью, за вычетом девяноста долларов за доставку на Мэдисон-стрит, давали фермерам сто тридцать пять долларов сверх того, на что они рассчитывали у комиссионеров. Шуберт получал свою пшеницу в пятницу, на день раньше, чем просил.

— Деньги Дуган отдаст через шестьдесят дней, папа, — сказала Ники. — Я сказала ему, что это решать вам.

— Фермерам я заплачу на этой неделе из своих, — сказал папа, не поднимая головы от бумаги. — Если конка за два месяца прогорит, убыток будет мой, а не их. И Дуган будет брать у нас каждый месяц. А Олсон, говоришь, должен банку к первому марта?

— Должен, папа. Он сам мне сказал, когда подписывал.

— Сам сказал, — повторил папа. — Ну да ладно.

Он отложил карандаш. Финн за конторкой у окна притворялся, что переписывает письма, и не переписывал.

— Я тебе говорил: если дадут двадцать семь с половиной, бери и не торгуйся, — сказал папа. — Я думал, ты так и сделаешь. А ты сделала так, что фермеры получили больше, Дуган заплатил меньше, швед остался при своём, а комиссионеры при своём, и никто ни на кого не в обиде. Я так за тридцать лет не всякий раз умел.

Он улыбнулся, довольный, и помолчал, вертя в пальцах очки.

— Вот что, дочка, — сказал он потом. — Скажи-ка ты мне. Место я тебе ещё в Коламбусе обещал, а всё тяну: две тысячи — деньги. Брать его сейчас, весной, или ждать до осени, когда, говорят, подешевеет?

За четыре месяца в Чикаго папа объяснял ей, показывал и смеялся над её вопросами в бакенбарды, но спрашивать её ни о чём таком не спрашивал. «Спросил всё-таки, — подумала она. — Боже мой, папа меня спросил». Ники сложила руки на коленях, на чёрном платье, и посмотрела на него.

— Сейчас, папа, — сказала она. — Осенью оно подорожает.

Вечером, когда папа ушёл к себе, Ники посчитала то, чего он считать не стал. Можно было взять с Дугана по двадцать восемь и три четверти, наличными, в тот же день; Ники взяла по двадцать восемь с четвертью и ждать будет шестьдесят дней. Сто пятьдесят долларов на тридцати тысячах бушелей да два месяца ожидания — вот во что обошлась ей правда. «Ну и пусть, — подумала она. — Хорошо, что я служу у папы».

Том, обходивший на ночь двери, заглянул в столовую, увидел её над бумагой и спросил, много ли нынче. Ники сказала, что сто пятьдесят долларов, только в убыток.

— Сто пятьдесят, — сказал Том, держа ключи. — Это, мисс Ники, мне за год в роте платили, со стрельбой вместе. А вы их отдали ирландцу с конки за то, что он вам поверил. — Он покачал головой. — Ну да Дуган, видно, человек памятливый.

И пошёл запирать чёрный ход.

Так и вышло: с апреля Дуган брал овёс только у папы, каждый месяц, по цене доски.

Сцена 4. Ники. Палата, 1886

Место на Палате, которое он обещал ей ещё в Коламбусе, папа купил в первых числах марта и заплатил за него две тысячи двести долларов. За неделю, пока он думал, оно подорожало на двести, и папа, подписывая чек, сказал, что это ему за то, что он неделю не слушал дочь. К апрелю он торговал в зале сам. Комиссионерам он больше не платил, и мистер Тиббетс подсчитал, что место окупится к Рождеству, если май не подведёт.

По вторникам и пятницам Ники ходила с ним на Палату и сидела на галерее, в первом ряду, у перил, в глубоком трауре и с длинной вуалью до пояса, а Финн, у которого был теперь пропуск рассыльного, бегал тем временем внизу, между папой и телеграфистами. Палата, контора и узкая лестница между конторой и столовой — только это и было теперь её миром, и другого она не искала. Рядом с ней обычно сидели приезжие фермеры в сапогах; они глядели вниз, разинув рты, и спрашивали её, что это там кричат, и Ники объясняла им, коротко и вежливо, как объясняют детям. Папа стоял у края пшеничной ямы, большой, седеющий, в котелке, и в самую гущу не лез. Время от времени он поднимал голову, находил её глазами на галерее и кивал ей, и она кивала в ответ.

Маклеры её замечали. На боковой лестнице, по которой поднимались на галерею, ей не раз попадался тот самый толстый немец в бархатной ермолке, из конторы на Ла-Саль-стрит, и каждый раз он отступал к стене, пропуская её, и говорил кому-нибудь за спиной, не понижая голоса:

— Вдова опять пришла смотреть, как папаша торгует.

— Пускай смотрит, — отвечали ему однажды. — Говорят, она у него и книги ведёт.

— Книги! — сказал немец и засмеялся. — Посмотрим, что она в них к осени запишет, кроме убытков.

Ники проходила мимо, не повернув головы, и под вуалью улыбалась про себя. «Запишу, — подумала она. — Только не убытки». Финн однажды, услышав это на лестнице, сжал кулаки, и Ники пришлось взять его за локоть, как тогда, в феврале, у матового стекла.

В одну из таких пятниц, в середине апреля, она стояла у перил, пока папа внизу ждал своей минуты, и смотрела на дальний конец галереи, у часов. Там, у самых перил, сидела девушка с тетрадью на коленях. Она была высокая и тонкая, в новом тёмно-синем платье, сшитом уже не дома, и в новой шляпке без всяких роз; тёмно-медные волосы она уложила высоким тяжёлым узлом. Рядом с ней стоял худой сутулый человек в длинном чёрном сюртуке и, наклонившись к ней, показывал набалдашником трости вниз, в яму. Ники узнала обоих сразу, и человека раньше, чем девушку. Она взялась обеими руками за перила, и чёрная лайка перчаток натянулась у неё на костяшках. Девушка слушала, подняв к нему узкое лицо с высокими скулами, кивала и писала. Потом она что-то сказала, и мистер Крейн тихо засмеялся и тронул её за плечо белой рукой.

«Значит, вы, мисс Сент-Клэр, — подумала Ники. — Ну что же. Пишите».

Ни он, ни она её не заметили. Мистер Крейн постоял ещё минуту, глядя вниз, потом выпрямился и пошёл к боковой лестнице.

Вечером в конторе, когда мистер Тиббетс ушёл, Ники спросила папу, что будет, если человек в яме кивнёт, а потом откажется платить.

— Тогда секретарь прочтёт с трибуны его фамилию, и ему в этой яме больше не стоять ни одного дня, — сказал папа. — Видишь ли, дочка, там внизу никто ничего не пишет. Я поднял руку, он кивнул, и пятьдесят тысяч бушелей проданы. Ни расписки, ни залога, один кивок, и на нём держится вся Палата. Если завтра цена уйдёт против него на десять центов, ничто ему не мешает сказать, что он ничего не видел и ни на что не кивал. Я тридцать лет торгую

зерном и ни разу не отказался от того, на что кивнул, даже когда это стоило мне больше, чем я зарабатывал за год.

— А в семьдесят третьем, в панику? — спросила Ники.

— И в семьдесят третьем, — сказал папа. — Особенно в семьдесят третьем. В сентябре банкирский дом Джея Кука приостановил платежи, через два дня в Нью-Йорке закрыли биржу, а здесь, в Чикаго, банки перестали платить по чекам, и денег на Палате не стало ни у кого. Пшеница падала каждый день, и тот, кто накануне кивнул на покупку по старой цене, наутро смотрел мимо своего маклера и не узнавал его. Тогда половина Палаты забыла, на что кивала. Я — нет.

Он учил её и тому, чего мистер Крейн не говорил никогда. Что человек, у которого кончается маржа, будет продавать по любой цене, Ники знала и без него; папа же говорил, что такому человеку не надо продавать в спину. Когда один из его клиентов, мукомол с Канал-стрит, не смог в апреле внести доплату и прислал своего сына с запиской, папа дал ему десять дней и позиции его не тронул. Мистер Тиббетс сказал, что это не по правилам. Папа сказал, что правила он знает сам.

— Человек, которому дали десять дней, отдаёт тебе всё, — сказал он Ники. — А тот, кого прижали, отдаёт адвокату. Ты посчитай, дочка, что выгоднее.

Мукомол с Канал-стрит заплатил на восьмой день, до цента, и с тех пор давал папе все свои заказы.

Финн в те же вечера учил стенографию, по Никиному Питману, по старому «Руководству по фонографии» в зелёном коленкоре, с которым Ники когда-то сидела в классе у миссис Темпл, и гоняла его Лиззи. После ужина она садилась с ним за край обеденного стола, раскрывала вчерашнюю «Трибюн» и диктовала ему биржевой отдел, быстро, не останавливаясь на запятых. Финн писал, высунув кончик языка, и к третьему столбцу уши у него горели. Потом Лиззи брала его листок, проверяла карандашом, крючок за крючком, и зачёркивала.

— Здесь у тебя «мальчишка». А надо «майская», — говорила она. — Миссис Темпл за такие крючки заставляла переписывать страницу три раза. Ещё раз. С «пшеница на май».

— Мисс Колман, я же…

— С «пшеница на май», мистер Райли.

Финн вздыхал и начинал снова, и Ники, сидя на диване со своими книгами, слушала, как скрипит его карандаш. Лиззи собиралась управиться к осени.

Сцена 5. Ники. Переезд, 1886

Поезд из Коламбуса пришёл на вокзал у Канал-стрит в субботу, первого мая, в половине восьмого утра, с опозданием на сорок минут. Город в этот день бастовал: ломовые извозчики не вышли на работу, на складах вдоль реки висели замки, и на улицах, обычно запруженных подводами, было непривычно пусто. Мамины сундуки папа отправил малой скоростью ещё в понедельник, и теперь у вокзала семью ждали только два экипажа, наёмный и свой, запряжённый парой гнедых, которую папа купил в апреле для конюшни при доме судьи. На козлах сидел Том в пальто с бобровым воротником. Финн, в новом картузе, стоял на платформе рядом с Ники, но чуть позади.

Первой из вагона выскочила Клара, и никто не успел её удержать. Она пробежала по платформе между носильщиками, налетела на Ники и обеими руками вцепилась в её юбку, и Ники нагнулась и подняла её, тяжёлую, в дорожном пальтишке, пахнущую вагонной пылью и леденцами. Следом сошёл Джордж с картонкой под мышкой и, ещё не поздоровавшись, сообщил, что от Коламбуса до Чикаго двадцать шесть станций, а они стояли на двадцати пяти, и это неправильно. Потом проводник подал руку маме. Мама, в сером дорожном платье и в шляпке с тёмной вуалью, сошла по ступенькам медленно и, увидев дочь с ребёнком на руках посреди чикагской платформы, на минуту остановилась. Она смотрела на них обеих, на чёрное платье Ники и на Кларины ботинки поверх него, и в лице её была та смесь радости и тревоги, с какой мать, давно не видевшая дочь, ищет в ней перемен. Потом она подняла Никину вуаль и поцеловала её.

— Вероника, — сказала она. — Ты похудела.

— Это траур, мама. В нём все худые.

Последними вышли Эми с корзинкой пирожков, взятых в дорогу и так и не съеденных, и мамина горничная Нора с тремя шляпными картонками. Лиззи шагнула к Эми, и они обнялись тут же, при носильщиках, и заговорили обе разом, так что ничего нельзя было разобрать, кроме того, что Клару в Логанспорте укачало, а у Лиззи в Чикаго нет ни одной приличной шляпки.

На Прери-авеню они приехали к девяти. Это была широкая прямая улица с тротуарами из розоватого плитняка, обсаженная двумя рядами молодых вязов, только что одевшихся мелкой липкой листвой, и тянулась она на юг от Шестнадцатой улицы. По обе её стороны, за чугунными оградами, стояли каменные особняки, один внушительнее другого, с башенками, эркерами и широкими крыльцами, на ступенях которых лежали ковровые дорожки. Все эти дома были новыми, и люди, жившие в них, мистер Пульман, мистер Филд и другие, разбогатели недавно; Ники знала, в котором доме кто живёт. Дом судьи стоял в середине квартала, между Восемнадцатой и Двадцатой улицами, трёхэтажный, из красного кирпича, с белыми каменными наличниками, с круглой башенкой на углу и верандой, увитой ещё голым диким виноградом. За домом был двор с конюшней и каретным сараем, и Том, въехав во двор, слез с козел и долго стоял посреди него, сунув руки в карманы, с видом человека, который наконец получил своё.

Дети разбежались по комнатам, и никто их не останавливал. Внизу были большая гостиная с роялем и камином серого мрамора, столовая с длинным раздвижным столом орехового дерева, библиотека, где по стенам до самого потолка стояли судейские книги в одинаковых коричневых переплётах, и маленькая утренняя комната с окнами на восток. Повсюду лежали ковры, а над камином в гостиной и вдоль лестницы висели портреты в золочёных рамах: сам судья в мантии, его покойный отец с бакенбардами и какая-то старуха в чепце. Простор, ковры, рояль, высокие потолки — всё здесь было богаче, чем им когда-либо доводилось видеть в Коламбусе. Джордж, разувшись, ходил по гостиной в одних чулках и гладил ступнями ковёр. Клара взбежала наверх, пересчитала спальни, их оказалось семь, и вернулась объявить, что

одна из них, та, где на обоях розы, будет её. Мама ходила по дому медленно, из комнаты в комнату, трогала перчаткой спинки чужих кресел, заглядывала в буфет, в бельевую, в кухню, где кухарка-шведка уже ставила на плиту большой медный котёл (папа нанял её ещё в апреле, вместе с горничной и судомойкой, как полагалось в хорошем чикагском доме), и наконец остановилась в гостиной перед портретом старухи в чепце.

— Чарльз, — сказала она. — Нам нужно заказать наши портреты и заменить чужие, особенно эту старуху в чепце: у неё слишком неодобрительный взгляд, я не смогу при ней играть. Пока наши портреты не будут готовы, давай унесём эти куда-нибудь в чулан.

— Хорошо, закажем, унесём, — сказал папа. — Как скажешь, дорогая.

Финн весь этот день не знал, куда себя деть. Всю зиму в квартире над конторой он был своим: засыпал за обеденным столом над «Трибюн», и никто не замечал, когда он входит и уходит. Здесь всё было иначе. Он вошёл с чёрного хода, с маминой картонкой в руках, остановился на пороге кухни и дальше не пошёл. В гостиной шумели дети, по лестнице ходили незнакомые ему женщины, мама в сером шёлке, с тихим голосом, и Нора, которая оглядела его с головы до ног и поджала губы. Финн стоял у двери, мял картуз и отвечал «да, мэм» и «нет, мэм» всем подряд, даже кухарке. Ники видела его из коридора и не подходила.

Вечером мама отдала Норе ключи от кладовых и бельевой. В Коламбусе Нора много лет была её горничной; на Прери-авеню ей предстояло вести весь дом.

Подошла к нему Эми. Она поставила свою корзинку на кухонный стол, вынула пирожок, разломила его пополам, одну половину дала Финну, а другую съела сама, стоя, и спросила, как его зовут, хотя знала это из Никиных писем.

— Финн, мэм. Финн Райли.

— А я Эми, — сказала Эми. — Никакая я не мэм. У тебя на пальто пуговица на нитке висит.

Она тут же усадила его на табурет у окна, достала из корзинки нитки и напёрсток и, пока он ел, пришила ему пуговицу, не снимая с него пальто, а заодно и ещё две, которые держались кое-как. Потом она послала его отнести картонки наверх и показать Джорджу, где тут конюшня. Через полчаса Ники увидела из окна утренней комнаты, как они идут через двор, Финн и Джордж, и Финн что-то рассказывает, размахивая руками, а Джордж слушает, задрав голову, и не верит ни одному слову. К вечеру Джордж знал, что от вокзала на Канал-стрит до Палаты одиннадцать минут бегом, а Финн знал все двадцать шесть станций до Коламбуса.

Ужинали все вместе в столовой судьи, за раздвинутым столом, под люстрой с матовыми шарами, при газе. Мама сидела на хозяйском конце, против папы, и Ники видела, что ей здесь всё чуждо, от тарелок с чужим вензелем до чужого лакированного буфета, и что она уже знает, что переставит завтра. Новая горничная обносила стол блюдами. Финна посадили между Эми и Джорджем: Ники с первого дня держала его за своего, и никто в доме не спросил, почему рассыльный ужинает за хозяйским столом. Он сидел очень прямо, смотрел, какую вилку берёт Эми, и брал ту же, а когда Клара опрокинула молоко, вскочил раньше горничной. Лиззи рассказывала маме, как он пишет стенографией «мальчишка» вместо «майская», и Финн краснел, а Джордж смеялся громче всех. Папа смотрел на них и молчал, и лицо у него было такое, какое бывало в Коламбусе по воскресеньям после обеда.

Ночью дом долго не затихал. Наверху, в комнате с розами, Клара потребовала, чтобы Ники посидела с ней, пока она не уснёт. Ники сидела, держа её горячую ладонь, и слушала, как за стеной Лиззи и Эми, улёгшиеся в одной комнате, шепчутся и смеются в подушку, совсем как шептались девочками в приютской спальне. «Все под одной крышей, — подумала она, — и все живы. Слава тебе Господи». Внизу мама тихо играла на чужом рояле что-то из Шопена и обрывала на середине, потому что рояль был расстроен. Клара уснула. Ники вышла на лестницу и посмотрела вниз, в освещённый коридор, ведущий в кухню. Там, у кухонной двери, Эми,

присев на корточки перед Финном, перевязывала ему шнурок на новом башмаке, а он стоял над ней и рассказывал про Палату.

У себя в комнате Ники долго не ложилась. Она стояла у окна над тёмной Прери-авеню, когда ей вдруг вспомнилось, что будет в будущий вторник, четвёртого мая, вечером, на Хеймаркет-сквер. Там, на митинге, бросят бомбу в полицейских, и наутро «Трибюн» напечатает семь фамилий. Своих она в тот вечер из дома не выпустит: папе с Томом нечего делать к западу от реки, а Финна она никуда не пошлёт. Но те семеро были чужие, и, кроме неё, о них никто не знал.

Об этом она и думала, шагая взад и вперёд по комнате, от окна к двери и обратно, внешне спокойная, но в душе встревоженная, и долго не могла прийти ни к какому решению. Пойти в полицию самой значило назвать своё имя, и тогда её спросят, откуда она знает, а на это ответить было нечего. Не пойти значило через три дня прочесть в газете те же семь фамилий. К рассвету она спустилась во двор, к Тому, который уже задавал гнедым корм, и рассказала ему, что будет во вторник на Хеймаркет-сквер.

Том выслушал её, не выпуская из рук ведра с овсом. Про бомбу он не спросил ни слова, а спросил только, кто будет стоять на площади.

— Полиция, Том. Семеро не вернутся домой.

— Полиции вы, мисс Ники, своего имени не говорите, — сказал Том и поставил ведро на землю. — Ни своего, ни папиного. Кто их предупредит, того они первого и возьмут, это я ещё в Цинциннати видел. Напишите печатными буквами, без подписи. А отнесёт пусть мальчишка: Финна на Западной стороне никто не знает. Меня там знают, кучера мистера Лэнгли видели у каждой биржи.

— А если они не поверят?

— Половина поверит, — сказал Том. — Им и половины хватит, чтобы не лезть вперёд.

— А сам я в тот вечер постою на Рэндолф-стрит, у угла, — сказал Том. — Мало ли что.

— Нет, Том. Тебе нечего делать к западу от реки.

Том ничего не ответил и снова взялся за ведро.

Гнедые в стойлах переступали и тянулись к ведру. Ники постояла ещё немного, потом кивнула и пошла в дом писать.

Утром она написала письмо печатными буквами, на простой бумаге: во вторник вечером, на Хеймаркет-сквер, когда полиция двинется разгонять митинг, в неё бросят бомбу из переулка, и подходить к толпе близко нельзя. В письме не было ни подписи, ни каких-либо примет, по которым можно было бы узнать, от кого оно. Сам Том в участок не пошёл, как они и решили во дворе. Письмо отнёс Финн. Он подсунул его под дверь дежурной комнаты на Десплейнс-стрит и ушёл, не оглядываясь, а Том ждал его в коляске на углу Мэдисон-стрит и увёз. Вечером Финн сказал ей только:

— Отнёс, мэм. Никто меня не видел.

Дальше она могла только ждать. Понедельник она просидела в конторе над книгами и ничего в них не видела, а во вторник вечером, когда за окнами давно стемнело, всё стояла у окна в столовой и прислушивалась, хотя от Прери-авеню до Хеймаркет-сквер было больше двух миль и услышать ничего было нельзя.

Том в тот вечер из дома ушёл. Ники хватилась его в одиннадцатом часу, когда Финн сказал ей шёпотом, что коляска в сарае, а Тома нет. Вернулся он во втором часу ночи, пешком, без шапки, и правый рукав его пальто был чёрный и мокрый до локтя. Он долго мыл руки у колонки во дворе и только тогда поднялся на кухню, где она ждала его с лампой.

— Двоих вынес, мисс Ники, — сказал он. — Из-под ног. Один, может, и не выживет, а другой всю дорогу до аптеки ругался, значит, живой. — Он сел на табурет у плиты и долго смотрел на свои руки. — Вы уж простите, что не послушался. Сидеть дома, когда стреляют, меня в роте не учили.

Ники ничего не сказала. Она налила ему горячего чаю из чайника, который держала на плите с десяти часов, и сидела напротив, пока он пил.

В среду, пятого мая, «Трибюн» вышла с Хеймаркетом на первой странице. Бомбу всё-таки бросили, из переулка, как она и писала; но полиция, сказано было в газете, получила накануне предостережение, которому в участке поверили лишь наполовину, и всё же держала строй поодаль, и когда бомба разорвалась, убитых оказалось двое. Двоих раненых, писала газета, вынес из толпы на руках неизвестный рослый человек с бородой и дотащил до аптеки на Рэндолф-стрит, а сам ушёл, не назвав себя, и доктор сказал, что оба будут жить. Ники прочла обе фамилии. Потом она поднялась к себе, вырезала заметку, вклеила её в альбом, перевернула страницу, провела карандашом черту и расчертила графы: «Полицейские на Хеймаркет-сквер. 4 мая 1886. Должно было: семеро. Стало: двое». Она долго сидела над этой строкой. Пятеро чужих ей людей вернулись в тот вечер домой, к своим жёнам, и никогда не узнают, кто написал то письмо и кто вынес двоих из них на руках.

Сцена 6. Ники. Статья, 1886

В середине июня, в четверг, после закрытия Палаты, Ники сидела в конторе на Ла-Сальстрит за дубовым столом и сводила дневные сделки, а мистер Тиббетс за барьером читал «Трибюн», держа её на вытянутых руках. Окно было открыто, и с улицы вместе с пылью и стуком колёс в контору входил запах конского навоза и горячего камня. Дочитав финансовый отдел, мистер Тиббетс сложил газету, положил её на край её стола и сказал, что пшеница на июль опять поднялась на восьмую и что этот июль всех разорит. Заметка стояла в самом низу второго столбца, под сообщением о дивидендах «Чикаго, Берлингтон и Куинси», и занимала восемь строк.

«Нью-Йорк, 14 июня. Банкирский дом «Уильям Эшфорд и сын» назначил главой своей чикагской конторы мистера Гарри Ноулза, который вступит в должность с первого января будущего года. Мистер Ноулз, выпускник Йельского колледжа, последние два года служит в нью-йоркском доме фирмы по западной корреспонденции. До его приезда дела конторы по-прежнему ведёт из Нью-Йорка младший компаньон фирмы, мистер Натаниэль Эшфорд, по совету которого, как нам сообщают, и состоялось это назначение».

Ники прочла заметку два раза. Когда она дочитала, что мистер Ноулз служит у Эшфордов, ей ясно представилось лицо: этого человека она видела на Палате, с галереи. Это был светловолосый широкоплечий человек с веснушками на крупном добродушном лице, который стоял у края пшеничной ямы всегда немного в стороне от своего маклера и смеялся так громко, что его смех было слышно на галерее сквозь весь шум зала.

Так вот кто он такой: друг, которого мистер Натаниэль Эшфорд посылает в Чикаго вместо себя. Ники сидела над газетой до тех пор, пока мистер Тиббетс не спросил, не дурно ли ей от жары. Она сказала, что нет, и попросила у него ножницы.

Вклеила она заметку вечером, на Прери-авеню, у себя наверху, при открытом окне, за которым в темноте шумели вязы и где-то через два дома играли на рояле, и подписала внизу: «Июнь 1886. 25 лет. Друг. Новый глава конторы в Чикаго». Потом она перелистала альбом назад, до страницы со шведом, где графа «Стало» всё ещё оставалась пустой. Теперь строчка выглядела так:

Олсон, швед, элеватор на северном рукаве. Февраль 1886.

Должно было: отдал пшеницу мистеру Крейну за бесценок и разорился.

Стало: продал пшеницу по цене доски, остался в деле и стал нам надёжным партнёром.

Через страницу шла запись о взрыве:

Полицейские на Хеймаркет-сквер. 4 мая 1886.

Должно было: семеро.

Стало: двое. Пятеро вернулись домой.

Сцена 7. Нейт. Гарри, 1886

Вопрос о чикагской конторе решился в середине июня, не сразу, но и без волокиты. Комиссионер, через которого Нейт с осени торговал в Чикаго, дважды за весну исполнил его приказы на день позже, чем следовало, и во второй раз это стоило банку четырёх тысяч долларов; а в начале июня пришло письмо из Лондона, вежливое и короткое, в котором лондонские корреспонденты банка желали знать, кто ведёт западные дела Эшфордов на месте, в самом Чикаго. Отец позвал Нейта в комнату компаньонов в пятницу. Был четвёртый час, банк закрылся, и внизу, в операционном зале, конторщики гасили лампы над конторками. Отец сидел во главе длинного стола, под портретом прадеда, мистер Хардинг по правую руку от него, а перед ними лежали две телеграммы из Чикаго и лондонское письмо.

— Будет лучше, если ты поедешь туда сам, Натаниэль, — сказал отец, положив ладонь на телеграммы. — На полгода, на год, пока не поставишь контору как следует.

— Нет, сэр, — сказал Нейт. — Я думал об этом всю весну. В Чикаго меня знает каждый маклер на Палате, и если я поеду, каждый из них станет торговать против Эшфордов только потому, что торгует против меня. Конторе нужен человек, которого там не знают и которому я могу верить, как себе. Такой человек у нас есть. Я говорю о Ноулзе.

Мистер Хардинг поднял глаза от бумаг. Отец снял очки и долго молчал, вертя их за дужку.

Старый Эшфорд был человеком, который верил лишь тому, что видел собственными глазами в книгах банка, и ничего не забывал из того, что Нью-Йорк говорил о людях. Он помнил, как два года назад старого Ноулза, вложившего всё, что имел, в дело Уорда, выводили под руки с Брод-стрит, и знал, что сын его с тех пор служит у Эшфордов за жалованье, которое почти целиком уходит отцовским кредиторам. Этот молодой человек был ему неприятен, как бывает неприятно всякое напоминание о чужом разорении, но упрекнуть его было не в чем.

— Отец его вложил в Уорда всё, что имел, — сказал он наконец. — Весь город помнит, как его выводили с Брод-стрит.

— Отец его верил Уорду, сэр, — сказал Нейт. — А сын не верил никому, кроме меня, и два года выплачивает отцовских кредиторов из своего жалованья. Мистер Хардинг знает, как он ведёт корреспонденцию.

Мистер Хардинг сложил перед собой руки. Тем ровным голосом, каким говорил на заседаниях правления, он сказал, что мистер Ноулз ведёт западную корреспонденцию аккуратно и что за два года в ней не нашлось ни одной ошибки, о которой мистеру Хардингу пришлось бы докладывать. Больше он ничего не сказал, и Нейт был ему за это благодарен.

— С первого января, — сказал отец. — Не раньше. Пусть сдаст дела здесь как следует и пусть приедет в Чикаго человеком банка. Твоим другом он пусть будет здесь. И пусть пишет мне сам.

— Он будет писать вам сам, сэр.

— Хардинг, дайте в газеты, — сказал отец и надел очки. — Несколько строк, не больше. Его фамилию, а ниже вашу, Натаниэль. Пусть в Чикаго знают, кто за него отвечает.

Гарри Нейт нашёл наверху, в комнате западной корреспонденции, где тот сидел один, без сюртука, в нарукавниках, над грудой копировальных книг, и курил, хотя курить там не полагалось. Окно было открыто на Уолл-стрит, и вечернее солнце лежало на столе длинной жёлтой полосой. Это был крупный светловолосый человек, который сидел на конторском стуле боком, потому что иначе на нём не помещался.

— Поедешь вместо меня, — сказал Нейт и сел на край стола. — В Чикаго, главой нашей конторы, с первого января. Отец согласен, Хардинг согласен, в понедельник будет в газетах.

Гарри положил сигару на край чернильницы и засмеялся, откинувшись на спинку стула, так что стул затрещал.

— Ну, Эшфорд, — сказал он, отсмеявшись. — Сперва ты выкупаешь дом моей матери, а теперь это. Почему не едешь сам?

— Дела семьи не позволяют мне сейчас уехать из Нью-Йорка, — сказал Нейт. — А в Чикаго мне нужен человек, которому я верю.

Гарри снова взял сигару и некоторое время молча курил, глядя на копировальные книги. Он был рад больше, чем хотел показать. Два года, с тех пор как разорился отец, он просидел здесь, наверху, над чужими письмами, и до него всё яснее доходило, что в Нью-Йорке на него смотрят прежде всего как на сына того самого Ноулза, которого выводили с Брод-стрит, и будут смотреть так, сколько бы отцовских долгов он ни выплатил. В Чикаго об этом никто не знал. Там всё было новое, люди богатели за десять лет, и никто не спрашивал, чем кончил чей-нибудь отец.

— Матери это не понравится, — сказал он наконец. — И мне нужно время, чтобы привести здесь дела в порядок.

— До января времени хватит.

Гарри встал, снял нарукавники и бросил их на стол поверх копировальных книг. Стоя, он был чуть ниже Нейта и чуть плотнее, и в комнате сразу стало тесно.

— Ладно, — сказал он. — Поеду. Только учти: если я там женюсь на дочке какого-нибудь мясного короля, виноват будешь ты.

Он пошёл к двери, надевая на ходу сюртук, и Нейт слышал, как его смех прокатился вниз по лестнице, через пустой тёмный операционный зал, и смолк за дверью, которую сторож отпер для него и снова запер. Так Гарри Ноулз, сын разорившегося маклера, стал главой чикагской конторы Эшфордов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.